

Андрей Мильцын

Глубина Пустоты

Андрей Мильцын
Глубина Пустоты

«Автор»

2026

Мильцын А.

Глубина Пустоты / А. Мильцын — «Автор», 2026

Чудо не может принадлежать одному — так говорили в Глубине. Леонид возвращается, когда Глубина начинает «засыпать», а за вторым слоем просыпается то, что 15 лет считалось копией. Теперь оно живёт само — и оно не враг. Просто с ним нельзя договориться. Чтобы спасти то, за что боролся всю жизнь, Леониду придётся сделать выбор, который нельзя выиграть: оставить силу себе — или отдать всё, включая себя. И стать тем самым чудом, которое принадлежит всем. Фанфик / неофициальное продолжение по мотивам трилогии Сергея Лукьяненко «Лабиринт отражений»

© Мильцын А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Пролог	5
Диптаун-мигает	8
Сбор-дайверов	11
Первый-дайвер	16
Вор-в-законе	21
Помнящий-своё-имя	23
Сердце-и-раны	25
Полный-круг	26
Последний-дайвер	27
Стена	33
Компас	41
Конец ознакомительного фрагмента.	45

Андрей Мильцын

Глубина Пустоты

Пролог

Я висел.

Не стоял, не лежал, не сидел — именно висел. Хотя, если честно, даже слово «висел» не совсем подходит, потому что висеть — значит быть подвешенным в чём-то, иметь направление, низ и верх, точку опоры и точку, от которой отталкиваешься. А здесь не было ни того, ни другого, ни третьего. Здесь не было направлений.

Вокруг меня — или, точнее, там, где должно было быть «вокруг», — простиралась серая муть. Не туман, не дым, не облачность — муть. Словно кто-то взял воздух, воду, свет и тень, смешал их в одной ёмкости и забыл включить. Серая, ровная, безупречно однородная. Без бликов, без пятен, без переходов. Муть, которая не кончалась ни справа, ни слева, ни сверху, ни снизу, потому что не было ни справа, ни слева, ни сверху, ни снизу.

Я не видел своего тела. Не чувствовал рук, ног, лица. Не ощущал дыхания — но и не задышался. Не слышал сердцебиения — но и не боялся, что оно остановилось. Всё, что было «моим», — исчезло. Осталось только сознание. Голое, без оболочки, без кожи, без границ. Как точка. Как искра. Как мысль, которая не принадлежит ни мозгу, ни телу, ни миру.

Я знал, что это такое. Я уже был в чём-то похожем — в ловушке Дибенко, в том двухмерном мире, где время текло слоями, а пространство было плоским, как старая плёнка. Там было страшно. Там мозг отчаянно, до боли, пытался «достроить» третий вектор, и каждая попытка отзывалась острой, почти физической болью. Там я цеплялся за себя, за свою идентичность, за каждый кусочек памяти — потому что знал: если отпущу, цикл затянет. Стану элементом. Перестану быть собой.

Здесь — не так.

Здесь не было страха. Вообще. Ни капли. Ни тени. Как будто страх — это функция тела, а тела не было. Как будто тревога — это реакция на угрозу, а угрожать было нечему. Нечему, потому что нет ничего. Полное НИЧТО. И в этом НИЧТО — покой.

Нет, не покой. Умиротворение.

Я не хотел двигаться. Не потому что не мог — мне просто не хотелось. Как если бы кто-то спросил: «Хочешь пойти туда?» — а я посмотрел и увидел, что «там» нет. «Туда» нет. Есть только «здесь», и «здесь» — это «нигде», и это совершенно, невыносимо, прекрасно.

Я не знаю, сколько прошло. Минута? Час? Год? Столетие? Здесь не было времени — не в том смысле, что оно остановилось, а в том, что его не существовало. Как цвета в полной темноте: не «чёрный», а «нет цвета». Не «медленно», а «нет скорости». Не «долго», а «нет длительности». Расстояние — тоже. Метр или миллион километров — какая разница, если некуда идти и незачем?

Где-то на самом краю сознания — на том краю, который ещё оставался моим — шевельнулась мысль: «Это смерть?» Я привычно, автоматически попытался её обдумать — и не смог. Мысль не зацепилась, не развернулась, не потянула за собой следующие мысли. Она возникла — и растворилась. Как капля в серой мути. Беззвучно, без следа.

И тогда я заметил.

Прежние воспоминания начали стираться.

Не резко, не больно — мягко, как рисунок на песке, который море стирает приливом: сначала крайние линии, потом ближние, потом те, что казались основой. Я помнил лицо Вики

— нет, уже не помнил. Помнил, что помнил, — и это тоже уходило. Помнил бар «Три поросёнка» — камень, дерево, циновки — нет, уже не помнил. Осталось только слово «три», и оно дрожало, как последний лист на ветке, готовый упасть.

Я должен был испугаться. Раньше — раньше я бы испугался. Я бы вцепился в каждое воспоминание, в каждое имя, в каждый образ. Я бы боролся. Я бы дайверил — вынырнул, оттолкнулся, пробился сквозь серую муть к чему-то реальному, осязаемому, живому.

Но мне не хотелось.

Мне хотелось отдаться. Отдаться потоку — но потока не было. Нечему было отдаваться. Не было течения, не было направления, не было силы, которая тянула бы меня. Была только серая муть, и я в ней, и стирание, которое не было потерей, а было... облегчением. Как если бы я нёс что-то очень тяжёлое — всю жизнь нёс — и наконец положил. Не потому что устал. А потому что понял: это не моё. Это никогда не было моим. Я просто нёс, потому что думал, что надо.

И я отдавался. Не потоку — потому что потока не было. Самой мути. Самому НИЧТО. Позволял ей забирать — по одному воспоминанию, по одному имени, по одному образу. Вот ушёл Чингиз. Вот ушёл Падла. Вот ушёл Дибенко. Вот ушёл Император, и слово «мир — это любовь» растаяло, как выдох в зимнем воздухе. Вот ушёл Неудачник. Вот ушла Глубина — то слово, которое когда-то было всем, стало ничем, просто набором звуков, который я уже не мог произнести, потому что не было рта, не было языка, не было голоса.

Я таял. Не умирал — таял. Как снежинка на тёплой ладони. Только ладони не было. И снежинки не было. И тепла не было. И таяния не было.

Было только НИЧТО. И я в нём. Или — я и было НИЧТО. Граница между «я» и «не я» стиралась последней, и это было... правильно. Как будто так и должно было быть. Как будто всё остальное — рояли, баржи, бургеры, реки, медали, тёмные дайверы, ночные разговоры у мангала — было сном. А это — пробуждение. Не в рай, не в ад, не в новую жизнь. В НИЧТО. В чистое, бесконечное, безмятежное НИЧТО, которое не спрашивает, кто ты, и не требует, чтобы ты был кем-то.

Я почти ушёл. Почти. Граница между «я» и «не я» стала такой тонкой, что я уже не понимал, где она. Может, её уже не было. Может, я уже не был.

И тогда.

Голос.

Знакомый. Далёкий. Почти забытый — но не совсем. Где-то на самом дне того, что ещё оставалось от меня, на самой последней полке, за самым дальним воспоминанием, которое не успело стереться, — голос. Тихий, спокойный, с той особой интонацией, которая бывает у людей, которые не торопятся, потому что знают: их услышат.

— Леонид...

Я не шевельнулся — нечем было шевельнуться. Но что-то шевельнулось. Не тело — его не было. Не мысль — мысли не было. Что-то другое. То, что осталось, когда всё остальное ушло. То, что не стёрлось. То, что НИЧТО не могло забрать, потому что это было не воспоминание, не образ, не имя. Это было... я? Или — след меня? Или — точка, из которой когда-то вырос весь мой мир?

— Леонид... — голос повторился. Ближе? Или мне показалось? В мире без расстояний «ближе» не значит ничего. Но голос был. Это точно.

Пауза. Или не пауза — в мире без времени пауз не бывает. Просто — тишина после голоса. Тишина, в которой я вдруг понял: я ещё здесь. Я ещё есть. Не тело, не имя, не воспоминание — но что-то. Что-то, что слышит. Что-то, что откликается.

И голос — знакомый, почти забытый, из самого далёкого прошлого, из тех времён, когда Глубина была игрой, а дайверы — игроками, — голос сказал:

— Лёня...

И серая муть дрогнула.

Диптаун-мигает

Глубина не была ни доброй, ни злой. Она просто была. И, как всё, что кажется незыблемым, умела вдруг оказаться зыбкой.

В тот день Диптаун впервые мигнул.

Не так, как мигает перегруженный сервер, — с привычной задержкой, которую виртуалы списывают на трафик. Нет. Улица Нью-Бронкса, по которой шёл Леонид, на долю секунды потеряла цвет, потом фактуру, потом — саму себя. Осталась серость. Пустота цвета ноль-ноль-ноль — чистого нуля в раскладке RGB, — в которой висит только твоё собственное «я» и тихий, противный сердцу шелест обрывающегося кода.

Он стоял на месте и смотрел, как город возвращается. Медленно, слой за слоем, словно кто-то заново рисует его из оперативной памяти — сначала каркасы зданий, затем стены, затем реклама, бегущая по крышам. «Добро пожаловать в Диптаун». Мир, который пятнадцать лет не умел ломаться, учился делать это заново.

Вот тогда всё и началось.

Виртуалом я был не первый год, и всё же замер, как новичок, у которого в первый же час из-под ног выдернули целый город. Потом отпустило — но не до конца, а до самого дна, туда, где теплится не страх, а предчувствие. Предчувствие я не любил. В Глубине оно почти никогда не обманывает.

В следующие дни Диптаун мигал ещё. Не каждый час и не по расписанию — как мигает больной, когда его знобит. Пропадала река Хрустальная, на миг становилась плоской, как зеркало, в котором никого нет. Пропадал фасад у «Колизея», и под ним открывались пустые леса, к которым никто не прикасался. Кто-то видел, как по Саду Скорби прошёл ветер, а ветра в Диптауне не было никогда, если не считать мелких шалостей, исполняемых хитрыми и умелыми хакерами типа Мага в своих внутренних пространствах.

Я сидел у стойки, когда мигнуло в четвёртый раз, и заказал себе «Добрый Cola». Раньше это слово царапало нёбо, хотя в вирте не должно царапать ничего. Раньше здесь, в этой дыре на окраине Диптауна, подавали колу — настоящую, насколько Диптаун вообще умел быть настоящим: вкус, шипение, холодок, колкая кайма на языке, от которой хочется зажмуриться. Теперь русским виртуальщикам её не дают.

Не потому, что в Глубине кончилась лицензия. Диптаун не магазин и не склад, он не умел кончаться. Просто санкции дотянулись и сюда — аккуратно, программно, как всё, что делают невидимые руки. Напиток для носителя русского гражданства или русского IP теперь реплицируется пустышкой. Запросишь вкус — а он равен нулю. Попросишь текстуру — она испаряется под пальцами, как туман под солнцем. Рендер возвращает null вкуса, и это, если вдуматься, самое честное, что случалось с колой за всю её историю: null так null. А на сенсорике остаётся фантомный привкус — металл и, где-то внутри, как заноза, номер ошибки, который мы так и не дочитали до конца.

Горькая логика в этом была. Мы, русские дайверы и хакеры, годами не платили за чужое чудо, а теперь оно отвернулось от нас — и мир не рухнул, просто стал чуть суше, чуть серее, чуть прохладнее. Зато у стойки выстроились другие названия: «Добрый Cola», «Черноголовка», ещё с десятков русских бутылок. И они-то реплицировались со вкусом — честно, щедро, до последнего глотка. Раньше я прошёл бы мимо них, не заметив. Теперь я пил «Добрый Cola» и понимал, что это вкус родины: не тот, к которому привык, а тот, что остался, когда привычное забрали.

За разговорами у стойки виртуалы перебирали, кто что видел. Суеверный народ, хотя над собственной суеверностью смеются. Человек Без Лица молчал, и его молчание весило больше любого слова.

— Ты нырял? — спросил он меня наконец.

— Нырял, — ответил я. — До самого дна.

Он не спросил, что я там видел. Старые дайверы не задают таких вопросов — не потому, что скрытничают, а потому, что на дне у каждого своя правда, и чужая только мешает.

Но и я не сказал ему главного. Потому что главное звучало слишком похоже на бред. Храм стоял.

Храм Дайвера-в-Глубине построен по вирусной технологии — той самой, что позволяет дайверу держать в руках кусок реальности и перекраивать его по своей воле. Всё, что собирали из обычных программ, мигало, рассыпалось, возвращалось с ошибками. А Храм — нет. Храм ждал меня, как ждёт зверь, который знает, что добыча придёт сама. Я был единственным из дайверов, у кого остался к нему доступ. Не знаю, почему. Может, потому, что любил Глубину больше остальных. Может, потому, что дольше всех нырял. А может, просто потому, что кто-то должен был прийти, и выбор пал на меня.

Дорога к Храму была дальней, хотя шагов до него было немного. Глубина — это не расстояние, а состояние: чем глубже, тем меньше правил и тем честнее всё вокруг. Я нырял так, как ныряют только старые дайверы, — не торопясь, чувствуя каждый слой, мимо которого прохожу. Здесь город ещё дышал полной грудью. Здесь — как утопленник, который забыл, что умер. А потом подводные течения кончились, и началось то, что уже не было ни Диптауном, ни первым миром. Сама Глубина.

Храм вырос из темноты не сразу. Сначала я ощутил его, как ощущаешь чужой взгляд за спиной. Потом — как гудит под ногами пол, по которому кто-то идёт впереди. И только потом увидел: он стоял там, где, по всем картам, ничего не было уже пятнадцать лет.

Он не был похож на храмы первого мира. Не был ни величественным, ни страшным — он был живым. Стены его дышали, когда я подходил, — медленно, как спящий, которому снится, что к нему идут. Колонны росли из пола, и по ним, как по сосудам, бежал свет — не золотой и не белый, а тот, что бывает в памяти: полупрозрачный, ненадёжный, готовый в любой миг стать тем, чем был на самом деле. Ничем. Раньше, в старых легендах, Храм был хрустальной башней с куполом-шаром, что ловил небо и хранил его внутри. Теперь он стал другим: снаружи он походил больше на Храм Зевса — строгий, каменный, со стеклянным куполом, под которым, как под веком, было видно пульсирующий свет. Словно Храм не просто ждал меня, а рос, менялся вместе с Глубиной.

Внутри было тихо. Та тишина, что не пустота, а прислушивание: кажется, каждый камень, каждая трещина знали, зачем я пришёл, и ждали, когда я заговорю сам.

Лестница по-прежнему вела вверх и спускалась вниз, закручиваясь, как спираль ДНК, — против часовой, обратный виток, о котором среди дайверов ходила полузабытая легенда. По стенам витка, ведущего вверх, шли фрески. Мы всегда думали, что это история Глубины, записанная теми, кто был до нас: рассвет, глубина, города, дайверы, чудеса. А последние фрески, ближе к низу, были пустыми — чистые стены, гладкие, как вода перед штормом.

И мы верили, что они оставлены для нас. Что судьба Глубины — открытая книга, и будущие дайверы должны дописать в неё свою главу. Что от нас зависит, какой Глубина станет. Мы думали, мы — её авторы. Это было самое сладкое заблуждение из всех, что Глубина нам дарила.

Тайную комнату я искал годы. Вернее, это она нашла меня. За слоем вируса, который пропускал только тех, кто умеет смотреть из реального мира в Глубину — без чудес дип-программы, стена Храма вдруг оказалась не стеной, а дверью.

Внутри было тесно. И на стенах — продолжение.

Там, где на лестнице фрески пустели, в комнате они не пустели. Они рассказывали до конца. Глубина исчезает. Не потому, что её убьют, не потому, что её забудут, не потому, что кто-то ошибётся. А потому, что таков её путь: она была пустой до начала и пустой станет в конце. Пустые фрески на витке — это не приглашение дописать. Это предсказание, и оно уже исполнилось, просто мы смотрим на него с той стороны, где время ещё не истекло.

Судьба Глубины — остаться пустой. Уйти навсегда. Не оставить в витке ничего, кроме чистых стен, которые никто не допишет, потому что писать будет некому и не о чем.

Я стоял посреди комнаты, и мне казалось, я слышу, как Глубина выдыхает. Долго, ровно, как дышит человек, который вдруг попал в горы и впервые вдохнул чистый горный воздух — прозрачный, ледяной, как на Алтае. Хуже всего было то, что это звучало не как гибель. Это звучало как освобождение. И я понял: вот что страшнее всего. Если Глубина уходит легко, значит, она действительно уходит.

А потом Храм заговорил.

Не так, как говорят программы, — не голосом и не текстом. Он просто собрался, как собирается человек, который хочет сказать что-то важное и больше не может молчать. И в тесноте комнаты, из вируса, из света, из самой тишины, проступил образ.

Ромка.

Дайвер-оборотень. Мой друг. Человек, который умел становиться кем угодно — волком, ветром, тенью, тобой, если бы захотел, — и которого я считал мёртвым столько лет, что перестал считать. А он стоял в центре комнаты и смотрел на меня. Живой. Настоящий. Или настолько живой, насколько может быть живым то, что Храм создал из собственной памяти, чтобы однажды сказать слова, которые должен услышать один-единственный дайвер на свете.

— Леонид, — сказал Храм его губами, и голос Ромки, знакомый до последней хрипотцы, прокатился по пустым фрескам. — Ты вернулся.

Я не знал, кто передо мной. Друг или ловушка. Подсказка или прощание. Я знал только одно: Храм, который не мигал, когда умирал Диптаун, собрал последние силы, чтобы сказать мне то, чего от него не слышал никто. Ромка шагнул ко мне, и в глазах его было то, чего я не видел в нём никогда. Не страх. Расчёт. Словно он отмеривал каждое слово, зная, что повторить не сможет.

— Слушай, — сказал он. — Всё, что происходит, — не случайность. Собрать всех дайверов мира. Всех, кто остался. Пока не стало поздно. Это не просьба, Леонид. Это единственный шанс. И начинается он...

Сбор-дайверов

Я ждал, что он договорит. Секунду, две, три — пока тишина в комнате не стала такой плотной, что в ней можно было утонуть, не заметив. Ромка стоял в центре, и глаза у него были уже не глазами Ромки. Глазами той самой мглы, из которой Глубина смотрела на тех, кто добрался до её дна. Что-то в его глазах было от Неудачника, от Императора, да и от каждого из нас — всё вместе и сразу, — и что-то совсем другое. Нет, это не был испуганный взгляд, не был он и пугающим; просто чувствовалась в нём такая Глубина, которую я ощутил единственный раз в жизни — когда попал в ловушку Дибенко.

— Договаривай, — сказал я. — Раз начал.

— Не могу, — ответил Храм его губами. — Не здесь и не один. Я один, а Храм не для одного. Глубина учит нырять в одиночку — это правда, и я научил тебя этому первым, после того как все остальные дайверы потеряли эту способность. Но жить на дне она умеет только с теми, кто собрался вместе. Полная информация, полная сила, полный Храм — всё это откроется лишь тогда, когда в его стенах соберутся дайверы. Не те, что были когда-то. Те, что остались.

— Сколько? — спросил я. — Я должен знать, на что замахиваться.

— Нас мало, Леонид, — ответил Храм, и в голосе его я услышал не счёт, а усталость. — Из тех, кто был, осталась горстка, и с каждым днём её меньше. Я не стану называть тебе число, потому что число тут ничего не решает. Глубина не считает нас по головам; она чувствует одно — соберёмся ли мы, пока она ещё дышит. Одна ночь и один день — сутки, не больше. За эти сутки собери тех, кто откликнется: кто рядом, кто не забыл, как нырять, кто услышит зов. Сколько сможете собрать — столько и будет нас. Кто успеет — тот и есть круг. Кого не достанешь за сутки — не догоняй: он либо слишком далеко, либо ушёл из виртуальности, либо не хочет, чтобы его находили. С ними решится потом, если вообще решится. А ты приходи с теми, кто есть, — пока Глубина ждёт.

Я не стал спорить. Сутки. Когда-то слово «дайвер» означало почти всех, кто умел нырять по-настоящему, без розовых очков дип-программы, — нас было, кажется, сотня с хвостиком, и мы считали себя целым миром. Теперь Храм не называл числа, и это было честнее любого числа: он не просил набрать квоту, как набирают список редких марок в коллекции. Он просил успеть. Успеть достучаться до тех, кто ещё жив, пока есть кому и к кому. Собрать то, что ещё держится, — не из жадности к целому, а чтобы не развалился остаток.

Возвращаться в Диптаун было странно. Я шёл по Нью-Бронксу, и город был цел — но так целы бывают вещи, которые стоят и ждут, когда их уберут. Мигания прекратились, и это было хуже всего. Глубина перестала болеть. Она просто ждала.

Дайверов я искал, как старый рыбак ищет прежний улов, — по обрывкам, по слухам, по старой памяти. Нашёл немного. Человек Без Лица ушёл в глубину в ту ночь, когда Диптаун мигнул в последний раз, — нырнул туда, где уже нечего было держать, и не вернулся. Я помнил его слова: «Плохо. Очень плохо». Он знал раньше нас. Он всегда знал раньше.

Другие просто ушли из виртуальности. Не умерли — забыли. Проснулись однажды утром, посмотрели на настоящую жизнь за окном и решили, что нырять больше незачем. Кому нужна Глубина, когда она перестала быть чудом? Вирт стал бытом, быт стал виртом, а чудес в Диптауне поубавилось. Санкции, пустышки, кола с нулевым вкусом и кодом ошибки вместо пузырьков — мир снова учился обходиться без чудес, и дайверы учились вместе с ним, кто как мог.

Кое-кто умер. По-настоящему, живой смертью — в постели, в больнице, за рулём. Виртуальные люди, которые забыли, что у них есть тела, и тела напомнили об этом жёстко, без предупреждения. Я составлял список и вычёркивал. Список был длиннее, чем хотелось бы.

Первой я нашёл Вику. Точнее — нашёл там, где и должен был: в реальности. Я вынырнул из Глубины, как вынырываю всегда, рывком, всем телом, и долго лежал, глядя в потолок, пока мир не перестал качаться. Вики дома не было. Я снял с глаз очки виртуальной реальности — эх, помню те времена, когда это была не аккуратная повязка, а кастрюля на голове, из которой торчали провода, — и положил их на стол. В холодильнике было пусто, а идти в магазин было лень, и я заказал еду в «Велосипед.Доставка». Пока ждал, думал о Глубине, о Храме, о том, успею ли за сутки. Еда приехала быстро и оказалась вкусной — такой, что впервые за долгое время я почувствовал себя живым: горячий гороховый суп, почти такой же, как когда-то варила в деревне бабушка, мясо по-французски с пюре и, конечно, «Добрый Cola». И опять, в который раз, я поймал себя на том, что в реале она ничем не отличалась от своего виртуального аналога.

Я позвонил Вике по мобильному и попросил возвращаться быстрее. Она пришла — не удивлённая, будто всегда знала, что я вернусь именно сегодня. Вика умела делать быт гостинным: не сильным, не глубоким — тёплым. От одного её присутствия у людей на душе отпусало. С ней и квартира переставала быть просто квартирой.

— Ты снова нырял, — сказала она вместо приветствия.

— Нырял.

— И снова собрался.

Я рассказал ей всё: про Храм, про то, что Глубина исчезает, про то, что нас осталось мало, что у нас сутки и что Храм ждёт тех, кто успеет. Сначала начался старый спор — один из тех, что мы вели годами: о необходимости избегать опасных мест, о том, что я когда-то смог уйти из Глубины и старался не влиять на её судьбу.

— Я старался не влиять, — сказал я. — И это было моей судьбой. Но теперь Глубина исчезает, а с ней исчезает и смысл моего существования в реальном мире. Кому нужен страж, которому нечего охранять?

Вика долго молчала. Потом кивнула.

— Хорошо. Я приду, когда позовёшь.

Она согласилась принять участие в общем сборе Храма и осталась ждать моего звонка из Глубины. А я снова нырнул — как всегда, не используя дип-программу, потому что вот уже пятнадцать лет она мне не нужна. Но уже через полчаса в виртуальности я понял: искать надо не в глубине, а в реальном мире. И начать — с тех, кого знаю, где искать.

Чингиза я нашёл на настоящем берегу реки Осётр, под Зарайском, с настоящей удочкой, под солнцем, которое слепило до слёз. Степь, ширь, небо без дна. Я просидел с ним полдня молча, и он заговорил первым:

— Глубина вздыхает. Я слышу.

Чингиз не нырял десять лет, но дар — чуют дыхание глубины, как скотовод чует ветер, — не ушёл никуда.

— Соберёшь остальных — позови, — сказал он.

— А если не соберу?

Он посмотрел на реку.

— Тогда придёт она сама.

Я не понял, о ком он: о Глубине или о смерти. Спрашивать не стал.

Дальше пошёл день — один-единственный, и я прожил его как в лихорадке, когда не успеваешь ни дослушать, ни попрощаться, ни толком вспомнить, где уже был, а куда ещё только предстоит. Сутки — это и мало, и много: мало, чтобы обойти всех, и много, чтобы понять, кто тебе откликнется.

Крейзи Тоссер позвонил мне сам — из-за океана, среди глухой ночи, скрипучим голосом человека, которого подняли из-под тёплого одеяла. У него было сердце, только что сделанная операция, и он сказал, что нырять — «это не для слабого сердца»; но он же добавил, что собирался умирать в глубине и теперь просто выходит из дома пораньше. Тоссер читал код, как

чертёж, — видел скелеты виртуальности там, где остальные видели плоть. Раньше это пугало. Теперь было нужно, и он это знал.

Анатолий объявился сам, письмом на пейджер из Парижа, — на три страницы, из которых полезного было три строки: он слышал чужие вирты как музыку, как голоса чужих городов, и, что дороже всего, чуял дайверов. «Зачем стучаться в каждый дом, — писал он, — когда можно послушать, где ещё играет эта музыка?» Я послушал и по его нотам нашёл троих, до которых сам не достучался бы и за год.

Мицуо я нашёл, почти не ища: он не уходил из Диптауна, сидел в тихой комнате на краю и писал код иероглифами — медленно, тщательно, как каллиграф выводит знак, видя в коде не инструмент, а письмо. Когда я вошёл, он не спросил, сколько уже собрал. Он спросил: «Когда выходим?» — и поднялся.

Свен зимовал на хуторе, который сам выстроил в виртуальной Норвегии, где стояла полярная ночь; он умел не чинить сбои, а замораживать их — держать фрагмент, чтобы он не рассыпался, пока думаешь, что с ним делать. «Если я заморожу её всю, — спросил он, глядя в темноту за окном, — она станет вечной?» — «Не знаю». — «И я не знаю. Поэтому поедem. Пока есть что замораживать». Шив откликнулся видеозвонком из Бангалора, за спиной у него шумел город, и он, не поздоровавшись, сказал, что у Глубины есть шанс умереть и он не ноль, а есть шанс, что мы её соберём, — и он тоже не ноль. Шив был единственным математиком среди нас — и, может, потому чувствовал глубже всех.

Ибрагим жил в Каире, у пирамид, и, как все старые дайверы, был полон притч: «Глубина — старая вода. Я помню её, когда она была ещё морем, а не городом. Если есть человек, который помнит, как всё начиналось, значит, есть шанс понять, как всё закончится». Память Глубины до того, как она стала Диптауном, была его даром. Диего я нашёл в Мехико, в доме за высокой стеной, среди людей, что опускали глаза при его появлении; старому гангстеру было плевать на чудеса, но он знал, что всё важное в этом мире проходит через глубину, — и что тот, кто владеет ею, владеет всем. «Я пойду, — сказал он. — Передай своим, чтобы не ждали меня к ужину».

Вэя мне отыскал Анатолий — тот слышал музыку, которую Вэй носил в себе, но не играл. Хрупкий, тихий, он делал детские игры в Шанхае и десять лет не произносил слова «дайвер»; дар его был зеркалом — он копировал чужой приём с одного взгляда, с одного касания. «Я не нырял, — сказал он тихо. — Боялся, что если соберу их все — все трюки, все приёмы, — то останусь пустым». — «И что?» — «А теперь вижу: если не собрать, пусто будет всё».

Но не ко всем я успел, и не все откликнулись. Кто-то был слишком далеко, чтобы добраться за сутки; кто-то ушёл из виртуальности тихо, по-человечески — проснулся однажды утром и решил, что нырять больше незачем, и я не стал его будить; до кого-то, говорят, до сих пор можно достучаться на самом дне старых слоёв, — но в этот раз он не ответил. Я вписывал их имена в память, не чтобы вычеркнуть, а чтобы, если придёт час, когда Глубина позовёт всех, никого не забыть. Сутки — это срок, за который успевают не все. Но Храм просил не всех. Храм просил тех, кто успеет.

Я никогда не умел объяснять, откуда у дайвера берутся дары. Никто из нас не умел — и, пожалуй, это честнее любого объяснения: то, что можно объяснить до конца, обычно можно и отнять. Дайверство не учится, как язык машин, и не наследуется, как цвет глаз. Оно есть — как есть у иных людей способность слышать музыку там, где остальные слышат только шум. Просто дайвер чувствует дно Глубины ногами, как рыбак чувствует, что река идёт на нерест, — и никогда не скажет, как это у него выходит.

Прежние способности были у всех одинаковые — потому они и звались общими. Самая главная, та, из-за которой слово «дайвер» вообще сделалось отдельным словом: я мог вынырнуть из Глубины в любой момент, в любом месте, без всякого компьютера. Обычному человеку такой роскоши не дано. Он входит в Глубину через дип-программу и выныривает только

там, где вошёл: его сознание запускает ту же программу наоборот, на том самом виртуальном компьютере, с которого нырнул, — и лишь оттуда возвращается в реальный мир. Дайвер же всегда носил этот компьютер с собой — под кожей, в той части сознания, где кончаются слова и начинается рефлекс. Проснулся — вынырнул. Устал — вынырнул. Почувствовал чужой взгляд на себе в чужом, незнакомом слое — вынырнул, не дожидаясь, пока тебя выследят. Это был наш воздух. То, чем мы дышали под водой, не задумываясь, что умеем это не все.

А вторая способность была похитрее и, если честно, пострашнее. Дайверы видели «дыры» в чужом программном обеспечении. Не те, что видит программист, когда читает чужой код и понимает, где он слаб, — тот видит глазами разума, через инструменты, через опыт, через годы. Дайвер видел их просто так, как видит прореху в старом заборе, — и мог в эту прореху протиснуться, не спрашивая у того, кто забор ставил. Сломать программу, над которой лучшие хакеры бились бы неделю, — для дайвера было не взломом, а почти бытовым движением: нашёл слабое место и выломал доску, как выламывают в заборе, чтобы сократить дорогу. Никакой магии. Было другое зрение — на то, что должно было держаться, а почему-то не держится.

Пятнадцать лет назад я забрал себе всё это обратно. Тогда, после Темного Дайвера, после той последней ночи, когда Глубина мигнула и едва не погасла навсегда, — я снова стал тем, кем был: повелителем всей сети, человеком, которому открыто дно и который держит в руках ключи от слоёв. Я думал, что на этом всё и закончится. Что я верну себе потерянное — и точка.

Я ошибся. То, что вернулось к дайверам, не было тем прежним набором, который у нас когда-то отняли. Отнятое вернулось — да, все общие способности, те самые, что были у каждого: выныривать где угодно, видеть дыры, не бояться глубины. Но вместе с ними, прилипнув, как пыль к намокшей одежде, пришло другое — и у каждого своё. Словно Глубина, отдавая долг, отдавала его с процентами, и проценты эти у всех выходили разные. Тоссер вдруг начал читать чужой код, как читают чертёж, видя под плотью скелет. Анатолий стал слышать чужие вирты, как слышат музыку чужих городов. Мицуо увидел в коде не инструмент, а письмо, и выводил его, как каллиграф выводит знак. Вэй научился копировать чужой приём с одного взгляда, с одного касания — стал зеркалом. И каждый следующий, кого я находил потом, носил в себе что-то своё: у одного — заморозка сбоя, у другого — числа, из которых складывалось будущее, у третьего — память о Глубине до того, как она стала Диптауном.

Почему так — не знает никто. Ни я, ни Храм, ни сами дайверы. Я перебирал объяснения — от вирусной лихорадки, что прокатилась по Глубине в ту ночь, до простой случайности, которая любит рядиться в закономерность, — и ни одно не держалось дольше недели. В конце концов я перестал искать. Раньше ведь тоже никто не мог объяснить, откуда берётся сам дар дайвера, — и это никого не останавливало. Люди просто ныряли. Так и здесь: у каждого оказался свой дар сверх общего — и этого хватало, чтобы перестать спрашивать, почему.

И теперь, собирая их по одному за эти сутки, я собирал не людей с одним на всех умением, как было когда-то. Я собирал разные чудеса — и каждое из них родилось в ту самую ночь, и каждое было единственным. Когда-то нас объединяло общее. Теперь — разное. Странная мысль, если подумать. Но я давно не удивляюсь тому, какими путями Глубина выбирает, кому что оставить.

Ночью мы подошли к Храму. Дверь открылась, как только я коснулся её, но для остальных она осталась бы закрытой: Храм впускал только меня. Я вёл их в Храм за руку, по одному. После этого Храм стал доступен для пришедших — они могли войти, могли укрыться в его стенах. Но его функции остались для них закрыты. Я демонстрировал им, что умеет Храм: как он раскрывает слои реальности, как держит кусок кода, как отзывается на слово. Дайверы пытались повторить — и ничего не выходило. Дверь им отворялась, стены отвечали, но Храм не слушался их приказов. Тогда Храм заговорил голосом Ромки.

— Леонид — системный администратор этого Храма, — сказал он. — Вы — обычные пользователи. Вы можете жить в нём, прятаться в нём, ждать в нём. Но действовать и приказывать Храму вы не можете. Пока не можете.

Сутки кончились, и под сводами Храма стояли те, кто успел. Я не считал их по головам — в этом не было больше нужды: пришёл тот, кто откликнулся, и Храм этого не оспаривал. Глубина мерила не число. Она мерила то, как мы держимся рядом, пока ждём.

Анатолий стоял у входа, вслушиваясь во что-то, чего я не слышал, и сказал негромко:

— Есть один, который играет не для нас, Леонид. Он рядом. Он всегда был рядом. Просто маска у него очень долгая.

Храм ответил голосом Ромки — ровно, без интонации, как читает список тот, кто знает всех поименно:

— Дибенко.

Я замер. Дибенко. Человек, который двадцать лет ходил с нами, сидел у стоек, слушал наши разговоры о глубине и Глубине — и был нам по очереди и врагом, и вынужденным союзником, но так и не стал ни другом, ни соратником. И ни разу, ни единым словом не признал, что умеет нырять. Он высмеивал дайверов, когда они вставали из-за стола, чтобы идти в глубь, — и при этом всю жизнь пытался ловить нас, изучать, использовать: он коллекционировал нас, как охотник коллекционирует добычу, разбирал на привычки и слабости, чтобы в нужный час нажать на нужную кнопку. Он смеялся над чудесами.

— Дайвер? Дибенко? — спросил я.

— Один из нас, — сказал Храм. — Он всегда был одним из нас. Он просто никому не показывал. Найди его, Леонид. И спроси, почему он скрывал это всю жизнь.

В темноте у входа кто-то вздохнул — не из нас. Или мне показалось. Храм молчал, как молчит тот, кто уже сказал всё, что нужно, и ждёт.

Первый-дайвер

Я не звал его. Он пришёл сам — как всегда, сам, — и это, пожалуй, и было самым знакомым в нём.

Мы собрались в комнате у Храма — не в самом Храме, Храм ждал полного круга, а в пристройке, которую дайверы по старой памяти называли «мелководьем». Кто-то сидел, кто-то стоял. Чингиз — у стены, со взглядом скотовода, читающего ветер. Вика — вполоборота к двери, тёплая, как всегда, и оттого чужая здесь, где пахло пылью и старым пластиком. Крейзи Тоссер откинулся на спинку стула, будто на крыльцо своей бруклинской халупы, и жевал зубочистку. Анатолий молчал, прямой и жёсткий, — и только сухие, быстрые пальцы его выдавали музыку, что звучала для него одного; он никогда не разменивал её на слова. Шив молчал и считал. Вэй, хрупкий, как струна, смотрел в стол, будто там была карта Глубины.

Напряжение в комнате было тем самым, какое бывает перед откровением, которое нельзя забрать назад. Мы знали, зачем собрались. Мы не знали — кто принесёт правду. Храм сказал: Дибенко. Первый — по словам Храма — из нас. Я, помнится, усмехнулся тогда про себя: Дибенко — дайвер. Это звучало как шутка, которую кто-то забыл досказать.

Дибенко стоял у стены. Не в центре круга, будто специально держа дистанцию. Так он стоял всегда — двадцать лет у стоек, у входов, у края разговоров: ровно на полшага от того места, где можно было бы его коснуться. Я впервые по-настоящему рассматривал его, а не мимо него. Человек без возраста, без примет, без того, что цепляет глаз. Если бы я не знал, кто это, я бы не запомнил его лица уже через минуту. Это, наверное, и была его настоящая способность. Не нырять. Быть никем.

Я всю жизнь читал его как чужого — врага, коллекционера, насмешника, того, кто собирает дайверов, как редкие марки, разбирает на привычки и слабости, чтобы в нужный час нажать на нужную кнопку. Он смеялся над чудесами. И я ошибался в главном. Он собирал нас не для себя. Он собирал нас, чтобы отдать нам то, что нёс один. Только сейчас, глядя, как он стоит у стены и не делает ни шагу к кругу, я начал это понимать.

Я помню, где впервые увидел его по-настоящему. Это было в Глубине. На складе «Макинтош» — старом виртуальном складе в нижних слоях, там, где кончается расцвеченный Диптаун и начинается настоящая Глубина, с её холодным кодом и тишиной старой памяти. Меня, ещё совсем молодого, заманили туда, как заманивают в ловушку: нашёлся голос, который пообещал, что на «Макинтоше» лежит то, чего не достать больше нигде, и я пришёл, потому что в те годы был жаден до такого. Я думал, это кража. Вместо товара за стеллажами, заставленными ящиками с программами, которые никто так и не распечатал, меня ждал разговор. Там, среди виртуальных ящиков, мне не грозили — в Глубине грозить бессмысленно. Мне предложили выбор: остаться тем, кем я был, или спуститься туда, куда не осмеливался никто, и вытащить Неудачника из лабиринта смерти. За это мне сулили то, что я тогда ценил дороже всего, — вседозволенность. Я согласился. И только поворачиваясь уйти между стеллажами, поймал взгляд человека, который за весь разговор не проронил ни слова. Он смотрел на меня так, как смотрят на инструмент, который собираются проверить в деле. Лица его я не запомнил — некому и незачем было запоминать. Имя узнал позже. Дибенко. Человек, который двадцать лет ходил с нами и всю жизнь собирал дайверов, как охотник — добычу. Именно он устроил мне тогда ту встречу и ту ловушку. И именно из той Глубины, со склада «Макинтош», я вынырнул уже не просто виртуалом, а тем, кто умеет доставать до дна.

Он выдохнул, как перед прыжком, и заговорил ровно, без театральных пауз.

— Вы все знаете, что без Дип-программы не было бы ни дайверов, ни этой самой Глубины, какой мы её видим. Никто не станет спорить с этим. Но вы, наверное, думаете, что я просто оказался в нужном месте, когда программа запустилась, и потому стал первым. Что мне

просто повезло оказаться у экрана монитора в тот самый момент. Удобная мысль. Простая. И от неё легче жить.

В зале стало тише. Кто-то шевельнулся — кажется, Диего, — но не издал ни звука. Крейзи Тоссер вынул зубочистку и положил её на стол, чего с ним не случалось, кажется, никогда. Я поймал себя на том, что задержал дыхание, и заставил себя выдохнуть.

— Погоди, — сказал Крейзи. — Ты это к чему, Дибенко? К тому, что ты — тот самый? Первый? Что это ты сидел у экрана, когда всё пошло?

Дибенко не повернул к нему головы.

— Но правда не в везении. Правда в том, что программа не просто включилась — она прошла сквозь меня. Не как через терминал, не как через сервер, а как через человека. Я не был её создателем, не собирал её по строкам, не подгонял архитектуру под себя. Она пришла, и я стал её проводником. А уже потом — дайвером.

«Проводник», — повторил про себя Шив, и я увидел, как он поправляет в уме цифры, потому что «проводник» ломал его таблицу. Мицуо, сидевший неподвижно, как письмо на полке, шевельнул пальцем — раз, другой, будто переписывал чужой код иероглифами. Крейзи хмыкнул и покачал головой:

— Сквозь человека. Хочешь сказать, ты — человек, Дибенко? Я читал код, как чертёж, двадцать лет. Код не проходит сквозь людей. Код проходит сквозь терминалы, сервера, контуры. А через людей проходят только дерьмо и кофе. Уж прости.

— Прощаю, — сказал Дибенко ровно. — Только ты не читал этот код, Тоссер. Ты читал его отражение. Как и все вы. Настоящий код я не показывал никому.

Он чуть наклонил голову, вспоминая тот первый день.

— При этом я не умел ничего особенного. Из старой школы: нырял с компьютером, а выныривал, когда сам решал, что хватит. Никаких трюков, никаких чудес. Просто: вошёл — и вышел, когда посчитал нужным. Точка.

Дибенко сделал паузу, будто давая этим словам улечься.

— Единственное, что у меня было, — умение видеть дыры. Не вычислять, не прогонять через анализатор, а именно видеть. Как будто в коде были пятна тени, где логика спотыкалась. И я мог их ломать. Интуитивно. Один взгляд — и трещина. Ещё один — и дыра. Но это не делало меня особенным. Это делало меня... подходящим. Для того, чтобы через меня прошла программа.

Мицуо заговорил — он говорил так редко, что голос его прозвучал как чужой, как слово, вынутое из чужой речи:

— Дыры, — сказал Мицуо. — Мы всю жизнь учились их заделывать. А ты — открывал. Значит, ты не просто первый, Дибенко. Ты был тем, кто пропустил её. Программа не входит в человека сама по себе — ей нужен открытый путь, по которому она сможет пройти. Ты сказал: прошла сквозь тебя. Не как через терминал, как через человека. Стало быть, ты и был этим путём. Не ключом, не дверью, не замком — тем, кто оказался открыт настежь, когда она постучала. Без тебя ей было бы некуда войти.

Кто-то из дайверов тихо спросил:

— И ты понял это сразу?

Дибенко покачал головой.

— Не сразу. Сначала я думал, что это я её приручаю. Что это я управляю тем, как она раскрывается. А потом пришло осознание, от которого у меня похолодели руки: я не приручал. Я просто не рассыпался под её весом. Она выбрала меня не за умения, а за то, что я был достаточно прямым, чтобы не исказить её по дороге.

Я вспомнил, как встретил его однажды ещё в Глубине, на виртуальном кладбище — в том тихом углу Диптауна, где виртуалы оставляют память о тех, кто не вернулся. Место было пустое и ничейное: ровные ряды безликих плит, никого вокруг, та же тишина, от которой не

спрятаться. Я подошёл. Он не обернулся. Долго стоял особняком у чужой плиты, не глядя на меня, и молчал — а потом заговорил о том, что давно носило в себе. Я счёл его слова тогда угрозой — или, в лучшем случае, мрачной выходкой коллекционера, который и здесь, среди чужой памяти, думает о своей коллекции. Я ошибся. Он говорил не обо мне. Он говорил о себе — о том, что нёс один, без права скинуть, и о том, что за двадцать лет так и не нашёл, кому передать. Я понял это только сейчас, глядя, как он стоит у стены комнаты, которая пахнет пылью и старым пластиком, и ждёт, когда правда его перестанет быть только его.

Он провёл ладонью по столу, будто стирая невидимую пыль.

— Именно поэтому я сознательно отказался использовать способности так, как могли бы другие. Не отказался от них — они всё равно были при мне, как шрам, который не исчезает. Но я не стал превращать их в оружие. Не стал строить империю на том, что пришло сквозь меня. Потому что быстро понял: такие силы не могут принадлежать одному. Если дать их в одни руки, мир начнёт гнуться под тяжестью этой власти. А я хотел не гнуть, а держать.

— Империю, — глухо повторил Диего, и в голосе старого гангстера впервые за вечер не было силы, а было что-то другое, чему я не сразу подобрал имя. Потом понял: уважение. — Не построить империю. Ты хоть понимаешь, старик, сколько таких, как я, ломали об это хребет? А ты — держал.

— Держал, — согласился Дибенко без тени гордости. — И всё равно гнулся. Никому не дано удержать такое, не прогнувшись самому.

Чингиз поднял голову от стены, где стоял, — и я впервые по-настоящему увидел, как он изменился за пятнадцать лет. Когда-то я знал его другим: удачливым, богатым, лёгким — человеком, который шёл по жизни, как по своей степи, широко и не оглядываясь, и у которого всё спорилось само собой. Теперь от той лёгкости не осталось ничего. Его согнуло, как сгибает всех нас: эмоции угасли, в глазах поселилась та глухая усталость, что порой видна в ещё нестарых людях, повидавших столько, что к своим годам они стали стариками. Чингиза мог бы понять двадцатипятилетний ветеран войны — тот, что горел в танке, ходил в штыковую, терял товарищей и после этого уже никогда не смеялся по-прежнему. Собственно, Глубина и согнула его, как согнула каждого из нас, — только он умел это прятать. Он сказал негромко, в своей манере, будто с берега:

— Глубина вздыхала, когда ты молчал. Я думал, это ветер. Это был ты.

Дибенко не ответил. Его голос стал ниже, почти шёпотом, но от этого звучал только твёрже.

— Когда я осознал, что программа не возникла сама по себе, а была послана, меня накрыл настоящий холод. Если её кто-то отправил, значит, он может прийти следом. И тогда всё, что мы строим, может рассыпаться. Особенно меня пугала мысль о Неудачнике. Не как о человеке, а как о знаке: там, где есть сила, всегда появляется тот, кто её ломает. Я долго сидел ночами и думал: что будет дальше? Как эта волна ударит по реальному миру? Что случится с людьми, которые даже не подозревают, что под их ногами уже дрожит пол?

Неудачник. Я помнил его — все, кого касалась эта тень, помнили, — и всё же мне было не до него в ту ночь, когда Диптаун мигнул в последний раз. Я был там, у кромки, когда Глубина вздохнула в последний раз. А после той ночи Человек Без Лица исчез — не ушёл никуда, не нырял: я ни разу в жизни не видел, чтобы он нырял, — просто перестал появляться у стоек, где привычно сидел двадцать лет. Я стоял и думал, что потерял его насовсем, что его «плохо, очень плохо» было прощанием. А он, оказывается, не уходил. Он носился с этим один, как с раскалённым ядром, всё это время — и донёс. Он знал раньше нас. Он всегда знал раньше. Просто потому, что нёс то, чего мы не знали. Я знал его дольше, чем кого бы то ни было из живых. И не знал о нём ничего.

Он посмотрел на каждого по очереди, не торопясь, будто хотел, чтобы эти слова легли не на слух, а глубже.

— И вот теперь настало то, чего я боялся с самого начала. То, к чему я пытался подготовиться, выстраивая правила, собирая вас, пытаюсь создать систему, которая выдержит удар. И я не знаю, выдержит ли она. Но я знаю точно: мы не сможем удержать это в одиночку. Ни я, ни кто-либо другой. Сила, которая пришла сквозь меня, не должна стать чьей-то личной победой. Она должна быть общей ответственностью.

Дибенко опустил плечи, будто сбрасывая тяжёлый груз, и добавил уже спокойнее:

— Это не оправдание. Это не попытка переложить вину. Это просто то, как всё было. Теперь вы знаете. И теперь решать вам — что с этим делать.

Тишина в комнате стала другой — не напряжённой, а собранной. Как будто каждый из дайверов теперь нёс часть этой правды вместе с ним.

Первым заговорил Анатоль. Тот, кто знал его только по музыке, которую он вытаскивал из Глубины, никогда бы не поверил, что этот человек умеет быть таким резким. Анатоль говорил редко, прямо в глаза, без преамбул и без смягчений — и тем удивительнее было, что человек с таким жёстким характером слышит Глубину как музыку, которую не различает больше никто.

— Ты нёс это двадцать с лишним лет и ни разу не позвал второго, — сказал он, и в голосе не было ни сочувствия, ни упрёка — одна голая правда, от которой не спрятаться. — Мы были рядом, Дибенко. Все эти годы — рядом. А ты решил за всех. Не рассказывай мне про бережливость — беречь можно то, что хочешь разделить. Ты не берёг. Ты не верил, что кто-то из нас выдержит твою ношу. И двадцать лет нёс её сам, пока не треснул. Вот это и есть твоя ошибка, старик. Не гордость. Недоверие.

Дибенко не стал спорить. Он вообще, кажется, устал спорить — устал за двадцать лет.

— Я не играл, Анатоль. Я держал. Один не держит. Один только держится.

Ибрагим, слушавший всё время с тем видом, с каким старик слушает молодых, — снисходительно и чуть грустно, — вынул из кармана притчу:

— Ты говоришь, вода под нами дрожит. Я помню эту воду, когда она ещё не дрожала. И скажу тебе, что ты забыл, старый. Не ищи, чья рука её толкнула, — вода дрожит не оттого, что кто-то её тронул. Вода дрожит оттого, что ей пришло время стать волной. Вопрос не в том, кто её поднял. Вопрос в том, выстоим ли мы на гребне.

Вэй, хрупкий, как струна, поднял голову от стола и сказал тихо, в своём шанхайском полубеззвучном говоре:

— Если ты всё это время был первым, значит, я всю жизнь копировал... первого? Все свои трюки я собрал у людей, которые собрали их у тебя?

— Может быть, — ответил Дибенко. — А может, ты копировал то, что и так было в тебе. Зеркало не врёт, Вэй. Оно просто показывает, что уже есть.

Шив наконец закончил считать. Он поднял голову и сказал то, что, наверное, вычислил первым:

— Я пересчитал. Если он — первый, если программа прошла через него, значит, вся наша вероятность собрать круг — не тот ноль, что я считал. Он не был в списке. Он и был списком.

Свен, до сих пор молчавший, как замороженный фрагмент, шевельнулся и сказал своим ровным норвежским говором:

— Ты двадцать лет держал это в одиночку, чтобы мы не рассыпались. Теперь твоя очередь. Мы заморозим это. Все вместе.

Дибенко смотрел на них, и впервые за всё время — впервые за все годы, что я его знал, — мне показалось, что он не держит дистанцию. Он просто не знал, как стоять иначе.

Вика, молчавшая дольше всех, подошла к нему — не вплотную, на ту самую полшага, которую он всегда оставлял между собой и миром, — и сказала:

— Мы не заберём у тебя ношу, Дибенко. Мы просто разделим её. Это разные вещи.

Он смотрел на неё. И, кажется, впервые за вечер не нашёл, что ответить.

Я слушал их и понимал, что Храм не ошибся, назвав его первым. Он не был самым сильным — он был самым ранним. Он нёс это так долго, что привык, что никто не узнает, и теперь, когда узнали, ему было страшно не за себя. А за то, что правда окажется тяжелее, чем мы готовы держать.

Один из нас. Всё это время, все эти годы — один из нас, а я пересчитал в уме, сколько раз был готов списать его со счёта, — и у меня замерло сердце.

Те, кто успел за эти сутки, собрались у Храма. Кто-то пришёл сам, кого-то я нашёл по обрывкам и по старой памяти, кого-то привели Анатолий с его музыкой и Шив с его цифрами; до кого-то я так и не достучался, но Храм не корил — он ждал тех, кто есть. А теперь здесь стоял он — тот, кого я считал последним, кто, как я был уверен, никогда бы не пришёл. И он пришёл сам, без зова, как приходил всегда. Дибенко не был последним. Он был тем, кто всё это время держал круг открытым.

Я мог бы искать и дальше — другой день, другую неделю. Но круг, который мы успели собрать, не ждал больше живых. Храм ждал не того, кто придёт извне и станет очередным в списке, — он ждал того, кто станет им самим. Теперь, когда Дибенко снял свою маску — снял, а не сорвал, — я наконец понял, кого не хватает. Не из тех, кто жил и ждал зова. Из тех, кто стал самим Храмом.

Остался последний дайвер. Им станет Ромка.

Вор-в-законе

Дибенко не прибавил нам радости — он прибавил нам веса. Откровение, сказанное в комнате, пахнущей пылью и старым пластиком, легло на плечи, и я чувствовал, как под ними проседают чужие спины. Не страхом. Весом. Мы знали, что Глубина уходит и что нам нужно успеть, пока она ещё ждёт. Теперь знали и другое: первый из нас нёс эту ношу один — и не рассыпался. Значит, и нам не полагалось.

Сутки ещё не кончились, и я шёл, как идут перед рассветом, — не считая оставшиеся часы, а вслушиваясь, кто откликнется. У Храма уже стояли те, кто успел; Дибенко, что снял маску, был среди них, хотя никто из нас его не приводил — он сам пришёл, как приходил всю жизнь. Где-то на поверхности ещё дышали те, кто не знал, что дно уже сочтётся у них под ногами. Достучаться до них — и значило успеть.

Анатолий принёс первую зацепку. Он вслушивался в Глубину, как врач в лёгкие, и слышал музыку там, где я слышал тишину. — Есть один, которого я слышу не здесь, — сказал он, помолчав. — Он играет в камере. Музыка у него тёмная, Леонид, но она настоящая. Так играют те, кому есть что вернуть.

Я не сразу понял. Потом до меня дошло: если музыка настоящая, значит, дайвер. Если в камере — значит, где-то далеко, за решёткой, но с душой на свободе. Я спросил Диего — он знал тёмную сторону Глубины, как свою ладонь. Старый гангстер долго молчал, глядя на меня из-под тяжёлых век, и в голосе его впервые за вечер не было силы, а было то, чему я не сразу подобрал имя. Осторожность.

— Китайчик, — сказал он наконец. — Слышал о таком? — Я кивнул. О Китайчике слышали все, кто хоть краем уха касался той стороны, где вместо законов — понятия: вор в законе, коронованный, один из последних. В реале о нём то и дело писали газеты и выходили новости, так что слышали о нём даже те, кто в Глубину ни ногой. Савелий Иванович Беглый, пятьдесят шесть лет. Мы не пересекались — я сторонился его мира, он моего. — Он сидит в «Чёрном Дельфине», — сказал Диего. — Особый режим для тех, кого приговорили навсегда. Оттуда не выходят. А фамилия у него говорящая: Беглый. Четырежды бежал — из тюрем, из лагерей, отовсюду, откуда не бегут. Потому его и упрятали туда, где четвёртый побег стал бы последним.

— И что? Дайверы не выбирают, где сидеть.

Диего усмехнулся — невесело. — Китайчик — дайвер, Леонид. Самый опасный из тех, кого я знаю. И он ныряет. Из «Чёрного Дельфина». На особом режиме так не выйдешь, как в обычной зоне: там покупают не надзирателя за пачку сигарет, а целый канал — своих людей, тайный терминал, к которому душа его подходит, пока тело спит. И оттуда он тянет нити: вору в законе не обязательно выходить, чтобы до него дотянулись. Если кто и умеет доставать из-под земли то, что там спрятано, — так это он.

— Как к нему попасть?

Диего покачал головой. — В Глубине. Он сам тебя найдёт, если захочет. А если не захочет — ты его не увидишь, даже стоя рядом. Он не приходит на свет, Леонид. Он — тень, которая держит чужой свет. — Он помолчал. — И не жди, что он будет мил. Он не мил. Он платит по счетам. Если Глубина ему что-то должна — он это заберёт. Если должен он — отдаст. Мимо него не проходят чужие долги.

Я нырнул в ту же ночь — не в светлый Диптаун, а ниже, туда, где виртуальность не мыта и не причёсана, где код стоит слоями, как подвалы, и пахнет сыростью и старыми паролями. Тёмная сторона Глубины — не злая, просто заброшенная, как подъезд, в котором не моют полы. Я сел на обрубок виртуальной тумбы и стал ждать. Китайчик пришёл, когда я уже пере-

стал вслушиваться, — как приходит тень, которую замечаешь только по тому, что свет вокруг неё стал гуще.

Он не был похож ни на зэка, ни на хозяина подполья. Русский, с сединой, пятидесяти шести лет, с лицом, которое умело не выражать ничего, и с руками, которые не делали лишних движений. Савелий Иванович Беглый — тот, что сидит в «Чёрном Дельфине». Китайчиком его прозвали ещё на первых зонах, и не за кровь: за каменное спокойствие, за то, что прочесть его по лицу было нельзя, сколько ни гляди. В лагерях такое лицо называют китайским. Он прозвище носил как оружие. Он посмотрел на меня и сказал:

— Ты — тот, кто собирает дайверов. — Это был не вопрос. — Я слышал. В Глубине плохо, Леонид. Плохо, как на зоне, когда режим ужесточают и ты понимаешь: это не на время, это навсегда. Я думал, это бред. Оказалось — правда.

Я рассказал ему. Коротко, как рассказывают тем, кто понимает с полуслова: Глубина уходит, и у нас сутки, чтобы собрать тех, кто ещё откликнется; ты — один из тех, кто нужен. Китайчик слушал, не перебивая. Потом спросил:

— Зачем тебе я? У меня нет чудес. Я не умею замораживать сбои, как твой норвежец, и не слышу музыку, как твой француз. Я умею одно: видеть, что кому должно. В Глубине, как и в жизни, всё держится на долгах. Любой код — это обещание, которое кто-то должен выполнить. Любая дверь — это слово, которое кто-то дал. Я вижу эти книги, Леонид. Все. И я умею накладывать арест.

— Арест?

Китайчик кивнул. — Если Глубина кому-то должна — она должна мне. Я подхожу к любому фрагменту и говорю: отдай. И он отдаёт, потому что в Глубине, как и на зоне, не отдать долг — не по понятиям, а без понятий я себя не мыслю. Ты думаешь, я держу свой мир силой? Нет — словом и книгами. Кто не отдал долг, тому нет места ни здесь, ни там. Так и с твоей Глубиной: если она уходит, значит, кто-то держит её слово и не отдаёт. Найду того, кто держит, — верну ей должное.

Я понял, почему Диего назвал его опасным. Он не грозил и голоса не повысил — просто рядом с ним было холодно. Говорил чисто, по-русски, без блатной фени, как человек начитанный и никуда не спешащий; тихий вор в законе страшнее того, кто орёт. Китайчик не ломал код и не творил его — он читал самую тёмную из книг: бухгалтерию мира. Давление не силой, а правом. Власть не над тем, что есть, а над тем, что должно. Такого дайвера у нас не было — и, может, потому мы не могли собрать круг, пока он не пришёл.

— Ты сядешь с нами в круг? — спросил я.

Он посмотрел на меня — и впервые на его лице что-то шевельнулось. Не улыбка. Расчёт. — У меня есть кодекс, Леонид. Я не нарушаю слово, не бросаю своих и плачу по счетам. Глубина платила по моим, пока тело лежало в «Чёрном Дельфине», а душа ходила по её каналам, как по нитям. Теперь мой черёд. Но учти: я приду не спасать ваш светлый мир. Я приду вернуть долг. И если круг ляжет поперёк моих книг — я порву круг.

Мне почти всё в нём не понравилось — так, как не нравится холодная вода при первом нырянии. Но я кивнул: без него было не собрать. — Добро пожаловать в круг, Савелий Иванович. — Он не улыбнулся и не кивнул. Просто стал частью темноты, из которой пришёл. А я подумал о горькой шутке: Беглый, четырежды ушедший из-за решёток, нашёл место, откуда не убегают. Половину пути мы прошли зря, думая, что идём одни.

Помнящий-своё-имя

Илья нашёлся не по музыке Анатоля и не по цифрам Шива. Он нашёлся по-старому — по адресу в старой записной книжке, куда я когда-то записывал людей, которых не должен был забыть. Я ехал к нему и всё вспоминал, каким он был: мальчишка с острыми локтями и вечно взлохмаченными волосами, которого я когда-то кормил гамбургерами в «Трёх поросятах» и рассказывал ему про Глубину. Он тогда почти не верил мне — и был, как потом выяснилось, прав. Потому что сам не знал, что уже давно один из нас.

Я помню тот вечер. Илья уплетал гамбургер и запивал колой, а я, по старой привычке — привычке, оставшейся с тех времён, когда так же рассказывал про чудеса Ромке, — говорил ему про дайверов: про дно, про Храм, про то, как Глубина умеет переписывать человека. В Илье было что-то от Ромки тех лет — тот же жадный блеск в глазах, та же готовность поверить в чудо. Но тогда он мне не поверил. «Врёшь ты всё», — сказал он, доедая, и улыбнулся так светло, что я не стал спорить. Он вообще не впечатлился моим рассказом — его собственный мир был так полон чудес, что чужие слова скользили по нему, не оставляя следа. Я и не знал тогда, что он — наш. Что Глубина уже выбрала его и просто ждёт, пока он вырастет.

А шесть лет назад я столкнулся с ним случайно — уже взрослым, высоким, светлым, и узнал его по улыбке раньше, чем по лицу. И в ту же минуту он сделал одну вещь: не глядя, поймал на лету коробку, сорвавшуюся со стеллажа, — поймал так, будто она сама легла ему в ладонь. Никто вокруг не заметил. Я заметил. Так успевает не обычный человек — так успевает тот, кто привык чувствовать мир на полшага глубже, чем тот лежит. Тогда я и понял: Илья — дайвер. И что сам он об этом не догадывается.

Он открыл дверь и распахнул её настежь, как распахивают дверь старому другу, — и от него пахло светом: музыкой, горячим кофе, шумом комнаты, в которой живут, а не ждут. Илья не постарел — он вырос, оставаясь тем же мальчишкой. В нём жило что-то от Ромки — того Ромки, что когда-то восхищался моими подвигами и верил, что я лучший на свете. И что-то от Пата — тёплое, солнечное, лёгкое, чему я пока не находил объяснения. Илья был правильным и серьёзным молодым человеком, но серьёзность его была светлой: он просто не знал, что в мире есть такая темнота, с которой я пришёл. Его мир до сих пор был полон чудес, и я на миг пожалел, что именно мне выпало рассказать ему правду.

— Ну, здорово, Лёня! — он шагнул ко мне и хлопнул по плечу, будто мы расстались вчера. — Ты не постарел. Только тяжелее стал. Глубина, да?

— Глубина, — ответил я. — И ты, как я вижу, тоже не на берегу.

— А я и не вылезал! — рассмеялся он. — Лет с шестнадцати, как сам попробовал. Это же лучше любой игры, Лёня. Там можно всё, а назад возвращаешься как из отпуска.

Я смотрел на него и вспоминал мальчика, который не поверил мне за гамбургером. Глубина не спрашивает, веришь ты ей или нет, — она берёт своё, когда придёт срок. Илья нырял легко, как ныряют только те, кто ещё не знает, что на дне бывает темно.

— Как ты ныряешь? — спросил я. Раньше этот вопрос был на грани фола — как спросить человека о его национальности или настоящем имени. Дайверы не делились своими секретами, и мы не лезли друг другу в душу. Теперь всё изменилось: нас больше не ловят, не ищут, не изучают. Глубина стала для всех просто феноменом — таких чудес в ней не счесть, и в реальном мире никто даже не пытался их считать. А мы, оставшиеся, наконец могли говорить открыто.

Илья пожал плечами, будто вопрос был пустяковый. — А никак. Просто ныряю. Я, знаешь, не забываю, кто я. Даже на дне. Глубина любит переписывать людей — подсовывает им чужую память, чужие лица, чужие желания, пока они не перестанут отличать себя от неё. А меня ей не переписать. Я трезвый. Я помню своё имя, когда всё вокруг уже забыло, как меня

зовут. Поэтому я могу идти туда, куда другие не могут: я не поверю ей, даже когда она будет говорить правду.

Это был дар, о котором я раньше не думал. Не сила, а защита от силы. В мире, где оборотни сбрасывают лица, а Глубина пишет чужие биографии, трезвый человек — живой компас.

— Ты поэтому здесь? — спросил я.

— Я здесь, потому что ты позвал, — сказал он просто. — А если честно, я и сам не знаю, зачем я вам нужен. Но если Глубине плохо — я хочу помочь. Она меня никогда не обижала.

— Он помолчал и добавил, впервые за вечер посерьёзнев: — Ты говоришь, её можно собрать. Значит, соберём. Ты пришёл за мной — я пойду.

Я не стал объяснять ему, чем это может кончиться. Он был молод, и пусть его мир ещё светел — я не имел права гасить эту светлость раньше времени. Когда он встал рядом со мной и мы пошли к Храму, я впервые за долгое время почувствовал, что не один. И — что чуть-чуть старею. Так стареет тот, кто видит, что его наука пошла дальше него.

Я не стал считать, сколько нас теперь. В этом не было нужды: Храм просил тех, кто успеет, и Илья успел.

Сердце-и-раны

Сутки ещё не кончились, когда я снова нырнул, и в последние их часы меня ждали двое, каких я не ждал. Первую я не искал — она сама нашла меня, хотя ей было семнадцать и она понятия не имела, кто я такой.

Её звали Алиса, но в Глубине она была Лисой. Я встретил её у самого дна, куда она забрела одна — без дип-программы, без проводника, без страха, которого ей по всем законам полагалось набраться за первую же секунду. Она сидела на обломке виртуального валуна и смотрела на Глубину так, как смотрит тот, кто пришёл домой.

— Ты заблудилась? — спросил я.

— Нет, — сказала она. — Я искала, где сердце. Оно бьётся где-то здесь. Глухо. Я слышу его, когда никто не слушает.

Я понял, что она оборотень, ещё до того, как она подтвердила. Она умела становиться кем угодно, но по-молодому: вразвалку, не всегда по своей воле, не умея держать форму долго. Ромкино ремесло, сказал бы я, если бы не боялся этого сравнения. Юная, хрупкая, и в ней было что-то от Ромки — та же лёгкость, с какой она меняла лица, то же небрежение к тому, каким тебя видит мир. Я не стал спрашивать, откуда это. Иногда лучше не знать, где растёт корень, пока не выросло дерево.

— Ты знала того, кто умел так же? — спросил я.

Она посмотрела на меня — и на миг в её глазах мелькнуло то, чего я не хотел бы видеть в глазах семнадцатилетней: глубина, которая старше неё. — Может, и знала. Может, мне снилось. Я не помню лиц, Лёня. Я помню только, как они становятся кем угодно. И что один из них не вернулся. Он остался там, где сердце.

Я не стал уточнять. Ромка не вернулся — он стал Храмом. Если эта девочка слышала его сердце, значит, связь была. Какая — я пока не понимал и понимать не хотел. Важным было другое: она слышала, где бьётся сердце Глубины. Она была не просто оборотнем — она была слухом, который ведёт нас к Храму.

— Пойдёшь с нами? — спросил я.

— А ты отведёшь меня к сердцу? — спросила она.

— Отведу. Когда соберём круг.

Она кивнула, как кивают те, кто давно решил, — и я почувствовал, что сделал с ней то же, что когда-то с Ильёй: пообещал то, что может оказаться дороже жизни.

Вторую нашёл Шив. Он пришёл ко мне с тем лицом, с каким приносит плохие новости актуарий: спокойным и чуть виноватым. — В Глубине есть раны, Леонид. Места, где код рвётся, как старая ткань, и оттуда сочится то, чего быть не должно. Я думал, это сбои. Оказалось — их кто-то зашивает. Медленно, терпеливо, как зашивают живую кожу. Я хочу знать, кто это делает. Потому что тот, кто умеет зашивать раны, умеет и находить их.

Марта нашлась в Берлине — в настоящем, не в виртуальном, в клинике, где она работала с теми, кого Глубина забирала слишком глубоко. Она была старше меня, с руками, которые умели не дрожать, и посмотрела на нас так, будто мы пришли на приём: «Вы пришли за мной. Я знала, что однажды придёте. Глубина тонет, да? Я чувствую это по ранам — их становится всё больше, и я не успеваю». Дар у неё был обратным дару Свена: Свен замораживал сбои, чтобы они не рассыпались, а Марта их лечила — сшивала разорванные пространства, возвращала форму тому, что уже начало терять себя, и слышала, когда кто-то тонет не в воде, а в Глубине. «Глубина — это не код, — сказала она. — Это люди, которые в неё ушли. Я лечу не пространства, я лечу тех, кто в них живёт. Ты ныряешь слишком глубоко, Леонид. Кто-то должен быть наверху и держать верёвку». И взяла сумку, будто собралась на вызов.

Полный-круг

Сутки кончились, когда круг наконец перестал расти. Храм не требовал большего — он ждал, и по тому, как тихо стало в его стенах, я понял: на сегодня это всё. Те, кого удалось собрать, были здесь; те, кто не успел, остались где-то далеко — на поверхности или на самом дне старых слоёв, — и я держал их имена в памяти, чтобы не забыть никого, если Глубина когда-нибудь позовёт всех разом.

Не все, кого я звал, добрались за эти сутки. Фелипе из Рио, лёгкий как пробка, умевший не ломать стены, а скользить между пространствами, — карнавал, который он строил себе в Глубине, держал его крепче, чем я рассчитывал: «я не бегу, я просачиваюсь», — говорил он, и в этот раз просочиться не успел. Тофик из Баку, что строил мосты между расползающимися берегами, был занят: где-то рвался код, и он не мог бросить тех, кто шёл по его мостам; «мост — это обещание, что ты сможешь вернуться». Хван из Сеула, умевший делать тишину и прятать фрагмент так, что его не видел сам сбой, — не отозвался вовсе; говорят, он ещё водится где-то на дне. Я не стал искать глубже.

Реза из Тегерана пришёл сам, в последний час, — и это было труднее всего. Он всю жизнь боялся второго дна Глубины, слоя, где код уже не код, а память, и потому годами не выходил на зовы. «Ты видишь Глубину, — сказал он, когда мы сели друг напротив друга. — А под ней есть ещё одна. Я вижу её. И боюсь, что если покажу вам, что там, — вы не захотите всплывать». — «Мы не для того собирали круг, чтобы смотреть вверх», — ответил я. Реза долго молчал. Потом кивнул и встал рядом с нами.

Так, в последний час суток, круг встал на то место, которое было ему отведено. Нас было немного — я не считал, потому что счёт давно перестал быть делом Храма. Храм ждал не числа. Он ждал того, что мы держимся рядом.

Лиса подошла ко мне, когда я стоял у входа, и сказала тихо, как говорят о том, что нельзя произносить громко:

— Сердце снова забилося, Лёня. Громче. Оно знает, что мы все здесь. — Она помолчала. — Оно ждёт, когда ты позовёшь его по имени.

Я закрыл глаза. Круг, который мы успели собрать, был кругом на одно место короче — и место это было не для того, кто запоздал. Оно не для живых. Оно для того, кто ушёл на дно и стал там всем.

Последний-дайвер

Храм умел раздвигаться — он для того и строился, чтобы под его кровлей хватало места тем, кто нужен. Но когда в главном зале, что был то ли собором, то ли пустотой, удерживающей колонны, собрались мы, кто успел за эти сутки, тесно стало не стенам. Нам.

Мы стояли кругом, как велела старинная легенда. За те дни, что мы стояли у Храма, Диптаун гас дважды — не мигнул, а погас, и нас выкидывало на поверхность, как пробку. Счёт шёл на часы. Шив, что чувствует будущее цифрами, перестал называть сроки: показывал пять пальцев, потом четыре, потом три.

Я обводил взглядом круг. Вика, тёплая, была рядом. Чингиз слушал ветер, которого здесь не было. Дибенко, снявший наконец маску, стоял в самом круге, и от этого круга было тяжелее — как тяжело своду, в который встаёт столп.

Лиса подошла и встала передо мной — маленькая, семнадцатилетняя, с глазами, в которых иногда проступало дно. Смотрела не на меня, а сквозь пол, туда, где под плитами пульсировал свет.

— Сердце бьётся, Лёня, — сказала она тихо. — Громче с каждым днём. Оно ждёт, когда его позовут по имени.

Я закрыл глаза. Круг, который мы собрали, был на одно место короче, чем нужно, — и это место не занимал никто из живых. Храм не ждал никого извне: тот, кого не хватало, не ждал моего звонка в каком-нибудь реальном городе. Тот один и был этим Храмом.

Я знал его, когда он был человеком. Дайвер-оборотень, друг, мальчишка, умевший становиться кем угодно — волком, ветром, тенью, тобой, — и однажды нырнувший туда, откуда не выныривают. Не утонул — остался. Стал самим Храмом. А Храм по вирусной технологии строился из души всех, кто клал в него по кусочку живой памяти. Ромка ушёл в это строительство целиком.

Долго я не понимал, чего не хватает. Думал: последний дайвер где-то на поверхности, спит, боится. Искал. А круг замкнулся не тогда, когда я нашёл его, а когда понял: последний из нас не придёт в Храм. Он и есть Храм.

И я заговорил с Храмом — вслух, как говорят с тем, кто дорог:

— Ромка. Ты слышишь меня?

— Слышу, — ответил Храм. Голос шёл отовсюду и ниоткуда, как всегда, но в нём впервые пробилося что-то тёплое. Ромкино.

— Ты нужен нам, — сказал я. — Не как стены и кров. Нам нужен дайвер. Последний из нас, тот, кто замкнёт круг. Я прошу тебя — не Храм, а тебя — сыграть эту роль. Стать снова тем, кем ты был. Ромкой.

Храм молчал долго.

— Ты понимаешь, о чём просишь, Лёнь? Я — часть. Один я не имею доступа ко всему, что знает Храм. Пока я в нём — я как один из вас в зале: могу жить, дышать, ждать. Но не всем, что умею, я могу распорядиться в одиночку. Я — голос в пустой комнате. И ты зовёшь меня выйти и встать в круг голосом?

— Да, — сказал я. — Потому что круг не для того, чтобы один всё знал, а для того, чтобы всё открылось всем. Ты сам сказал это давно, Ромка. Помнишь? Ты говорил: один не имеет права на чудо. Чудо — оно на то и чудо, что оно само по себе, что его нельзя унести в кармане и зажать в кулаке и назвать своим. Оно либо случается у всех на глазах, либо не случается вовсе. Я тогда спорил — мне хотелось своё чудо спрятать и беречь одному. А ты сказал: не выйдет, Лёнь. На то оно и чудо. Теперь ты — последний из нас. Не стены, а дайвер. Замкни круг собой — и пусть чудо, если оно есть, достанется всем.

И Храм шагнул из самого себя. Стены на миг стали прозрачными, как вода перед прыжком, — и из их толщи, из вируса, из светлых прожилок, бегущих по каменным венам, в центр круга вышел человек.

Ромка. Настоящий, живой, вразвалку, с той лёгкой усмешкой, какой он встречал любую беду. Мальчишка, которого я оплакивал столько лет, что перестал считать, — и который вышел из стен Храма, чтобы встать в круг последним.

В зале ахнули. Кто знал его только по легендам — подался назад, будто увидел призрака: для них он был мёртв, а мёртвые не возвращаются даже в Глубину, где возвращается всё. Кто знал его живым — молчал, и это молчание было тяжелее любого крика.

Лиса подошла первой. Протянула руку и коснулась его лица — осторожно, будто боялась, что он развееется.

— Ты тот, кто не вернулся, — сказала она. — Я слышала твоё сердце. Оно стучало здесь, под полом. Всё это время.

— Теперь стучу я, — сказал Ромка, и в голосе его дрогнуло то, чего он сам, кажется, не ждал. — Спасибо, что ждала.

А я смотрел на него и не находил слов: столько лет я помнил его мёртвым, что отвык помнить живым.

— Ты долго, — сказал он.

— Я не знал, что можно вернуться.

— Вернуться нельзя, — ответил он. — Можно прийти. Это разные вещи. Ты сам меня этому учил.

И встал на последнее пустое место круга. И тогда Храм открылся.

Не вспышкой — так открывается дверь, которую ты всю жизнь искал в стене и вдруг понял, что она была замком настежь. Теперь, когда круг замкнулся, — и глубина под ногами перестала быть дном. Она стала книгой, которую ты всю жизнь держал вверх ногами и только сейчас перевернул.

Ромка стоял в центре, но это уже был не Ромка — или не только он. Глаза его на миг стали глазами Храма: той самой мглы, из которой Глубина смотрит на дошедших до дна. И голос был голосом не одного человека, а всех, кто клал эти стены.

— Вы искали, как сохранить Глубину, — сказал Храм его губами. — И искали на первом слое, на том, что зовёте Диптауном. Но Глубина не кончается вашим дном.

— Ниже есть дно? — спросил Свен.

— Ниже есть слои. Диптаун — первый, он построен из кода, и код вы умеете чувствовать. Но под ним лежит второй, где код уже не код, а память. Где Глубина помнит, кем была до вас и кем станет после. Ответы — там.

Реза, что всю жизнь боялся второго дна, глухо сказал:

— Я говорил. Там, под нами, есть ещё одна Глубина. Я видел её краем и боялся, что если покажу вам, что там, — вы не захотите всплывать.

— Теперь придётся, — сказал Ромка. — Если не мы — то никто.

Я шагнул вперёд.

— Тогда ныряем. Круг есть, ты есть — показывай, куда идти.

И тут Храм сказал то, от чего у меня похолодело под ложечкой.

— Круг есть, а ключа нет, Леонид. — Он говорил негромко, и слова падали в тишину зала, как камни в глубокую воду. — Дип-программа, с которой вы научились нырять, — ключ к первому слою, она говорит на его языке. Но ты пойми главное, Лён. Дип-программа не отпирала первый слой. Она его создала. Диптаун, каким вы его знаете, держится на ней: это код, которому однажды сказали «будь», и он стал домом. Первый слой существует потому, что его написали. А ключом он стал потом — когда вы научились им пользоваться.

— Погоди. — Я шагнул ближе, к самому краю круга. — Если первый слой создан дип-программой, то второй должен лежать готовый, ниже, как подвал под этажом. Ты сам говорил: Диптаун — первый, а под ним лежит второй.

— Лежит место, где он мог бы быть, — сказал Храм. — Не больше. Пустая комната в недостроенном доме, до которой никто ещё не довёл стены. Пока Глубина жила на одном этаже, второй был ей не нужен. Теперь она уходит, Лёнь, — и уходит не наверх, а вглубь, в ту комнату, которой ещё нет. Чтобы попасть на второй слой, его нужно сначала создать. Диптаун был создан — и потому он есть. Второй слой не создан — и потому его нет. Ты ищешь ключ, который отпер бы дверь, — а двери тоже нет. Есть только замок на голой стене, где дверь должна быть.

— Тогда создай его, — сказал я. — Ты — Храм. Ты помнишь всё, что когда-либо было в Глубине.

— Всё, что было, — поправил Храм. — А это — то, чего ещё не было. Помнить прошлое я умею, это моя природа. Создавать будущее — нет. Я не знаю, как рождается новый слой реальности, — я только держу память о тех, кто умел рождать. Но я знаю, кто это может сделать. Один человек. Я не назову его — не здесь и не сейчас. Скажу только: он из вашего мира, из мира кода, и ты его знаешь.

— Постой. — Холодок тронул затылок, и я понял, что задел за то, о чём боялся думать все эти дни. — Если второго слоя ещё нет, если его надо создавать с нуля — откуда же мы тогда про него знаем? Откуда знаем, что Глубина уходит именно туда, что ответы — там, что внизу кто-то ждёт и зовёт Лису по имени? Дверь не построена, а мы уже стучимся. Это не сходится, Ромка.

— А ты не помнишь, Лёнь, — сказал Храм, и голос его стал тише, — кого ты вытащил когда-то из лабиринта смерти?

Слова упали, и в зале стало так тихо, что было слышно, как дышит сама Глубина. Неудачник. Годы я гнал от себя эту мысль, как гонят сон, слишком похожий на явь. А ведь она была — я сам когда-то её выдумал и сам же испугался. Версия, что Неудачник не из нашего времени. Что он — пришелец из будущего виртуальности, из тех времён, когда второй слой уже создан, когда Глубина проросла вглубь, как дерево вырастает под землю, и там уже жили. Я отмахивался: бред, сказка для дайверов, у которых от долгих ныряний съезжает крыша. Но если принять её на миг — всё вставало на место. Второй слой, которого нет, потому что он ещё не создан... а откуда же мы о нём знаем? Оттуда. Из той трещины, сквозь которую однажды уже выпал человек, нёсший в себе код ещё не рождённого дна. Неудачник был не неудачником. Он был вестником.

— Это было давно, — сказал я хрипло. — И это была только версия.

— Версии, Лёнь, — ответил Храм, — это то, из чего строятся миры. Первый слой построили из версии, что код может стать домом. Второй построят из версии, что он уже однажды был. Ты ищешь ключ. А ключ — не в программе. Ключ — в том, кто способен поверить в дверь, которой ещё нет, и сделать так, чтобы она была.

В зале стало очень тихо. Мы вдруг почувствовали себя детьми, выросшими на первом этаже огромного дома и всю жизнь думавшими, что выше крыши нет. А внизу должен был быть подвал, которого никто ещё не построил, — и от этого было страшнее, чем если бы он был.

— Значит, нужен не ключ, — сказал я, — а тот, кто сможет создать слой, которого нет. И это будет не дайвер — дайверы чувствуют Глубину, но не пишут её язык. Это будет человек, для которого код — плоть.

— Хакеры, — сказал Ромка, и в голосе его прорезалась знакомая усмешка. — Ты собираешься привести в Глубину хакеров, Лёнь. Глубина это переживёт?

— Глубина переживёт всё, — сказал я. — Вопрос — переживём ли мы их сами.

Я знал этих людей всю свою взрослую жизнь. Шумных, неудобных, гениальных и совершенно невыносимых — тех, кто умел превращать код в нечто большее, чем код. И когда я закрыл глаза, чтобы вспомнить, кто из смертных способен создать целый слой реальности, первым перед глазами встал Шурка Летов.

Маньяк — Шурка, Александр Летов, — мой сосед, старый друг и просто хакер, каких больше не делают. Автор Warlock-9000 и, если по совести, большей части моих боевых программ. Он писал вирусы, торговал ими, потом бросил и уехал в Сан-Франциско — в мир, где Глубина чужая игрушка, а не дом. Из всех нас у него были самые быстрые руки и самый холодный ум. Если кто и мог вычислить, как подступиться к нерождённому слою, — начинать стоило с него.

Был рядом с ним и Падла — Антон Стеклов. Живёт у Чингиза, как живут у Чингиза все, кому больше негде и не с кем: широко, шумно и с чувством, что это ненадолго. Панк-хакер, авантюрист, одессит по духу. Был бы самым великим хакером поколения, если бы не был самым ленивым. В реале — квадратное телосложение, рыжая борода, бритый череп, пудовые кулаки и тонкие ботанские очки: сплав голливудского хакера и крутого байкера. В виртуальности мог щеголять в безразмерных сатиновых трусах и старой нутриевой шапке, чтобы сбить с толку. В своей стихии резок и прямолинеен, как топор; при дамах безукоризненно вежлив.

И Пат — Саша, лет тридцати, выросший в доме Чингиза. Не родственник, но Чингиз таких слов, как «чужой», в его сторону не произносил. Вырос Саша в роскоши — в доме Чингиза у Красных Ворот, в крутой двухуровневой квартире, которую любой назвал бы квартирой миллионера: полностью упакованной, с окнами на бульвар, где ни одна половица не скрипит под ногой. Только Саша этой роскоши не замечал — не из скромности, а потому, что с малолетства жил Диптауном: настоящее было там, в глубине, а здесь — лишь скучная обёртка. Он вырос не среди позолоты и дорогой мебели, а среди хакерской вольницы, что вечно осаждала дом Чингиза, — среди споров о коде, остывшего кофе и ламп, не гаснущих по трое суток. Из мальчишки, которого Чингиз когда-то взял под своё крыло, Саша вырос в самостоятельного мастера-хакера — и умел то, чему старые хакеры учатся годами: слушать. Не код — людей. Падла при Пате не ругался — никогда, ни единым словом, не из стеснения, а из уважения. И однажды эта сдержанность спасла нас: под видом Падлы к нам пришёл Темный Дайвер — чужой, что говорил падлиным голосом и повторял падлиные слова. Пат раскусил его в секунду. «Он выругался при мне, — сказал он. — А Падла при мне не ругается. Значит, это не он».

Из них троих крепче всех был связан со мной Маньяк — мой сосед по старому дому, тот, кто знал меня дольше всех и кому я мог позвонить через пол-океана в три часа ночи и не извиняться. Ему я и позвонил первым.

Пол-океана трубка молчала долго — я уже собрался бросить, решив, что в Сан-Франциско глухая ночь и он спит, — и когда он наконец ответил, голос у него был спросонья: сиплый, тёплый, каким говорят, только что вынырнув из сна, как из тёплой воды, когда человек ещё щурится на свет и не злится. За его спиной ворочался ночной город — гудки, чья-то музыка, дальний вой сирены.

— Ну, Леонид, — сказал он, зевнув не таясь. — Ты хоть знаешь, который час? Хотя погоди, не отвечай. Ты в своём Диптауне часы вообще не признаёшь. Признавайся, что сломал. Небось опять подхватил вирус, который я сам же тебе и подсунил?

Было время, когда это была чистая правда: Маньяк вычислил меня как дайвера именно так — я пришёл к нему, соседу, лечить вирус, который он сам же написал, а я вынырнул на полуслове и не успел спрятать глаза. С тех пор он относился ко мне с покровительством домашнего доктора к соседу, умеющему только жать кнопки.

— На этот раз вирус — вся Глубина, Шурка. Она уходит. И под ней нашлось место, куда она уходит, — второй слой, до которого мы не достаём. Только вот слоя этого нет. Его надо сначала создать. И мне нужен человек, который это сможет.

— Лёнь. — Голос у него стал ровный, как лезвие, и сон с него слетел в один миг. — Ты звонишь мне в три часа ночи, чтобы сказать, что хочешь создать то, чего нет?

— Да.

— Такого не бывает, — сказал Маньяк. — Код — это код. Память — это память. Они не перетекают друг в друга. И тем более не рождается из них новый мир.

— Перетекают, Шурка. Просто никто не пробовал. Храм — ты же знаешь, кто теперь Храм, — говорит, что это под силу одному человеку. Из мира кода. И что я этого человека знаю.

Маньяк долго молчал. Я слышал, как за океаном он садится на кровати, как чиркает зажигалка, как он затягивается и выдыхает дым.

— Знаешь, что самое смешное, Лёнь? — сказал он наконец. — Я ведь тебя ждал. Не сегодня — третий день жду. И был уверен, что позвонишь именно ты, а не кто-нибудь из остальных, потому что только ты способен прийти и сказать такое, во что сам не веришь до конца, — и заставить поверить меня. Ладно. Рассказывай. С самого начала.

И я рассказал. Про Храм, круг, Ромку, про то, как последним он вышел из стен и Храм открылся. Про второй слой, которого нет, но куда уходит Глубина. Про то, что код там становится памятью, а память нужно не взламывать, а читать. И про то, что нам нужен не вирус и не отмычка, а тот, кто сможет создать целый слой реальности, поверить в дверь, которой ещё нет, и сделать так, чтобы она была.

— Считай, я понял. — Маньяк помолчал. — Вопрос в том, кто этот твой «один человек».

— Ты, Шурка, — сказал я. — Я потому тебе и позвонил первым. Ты единственный, кто умеет писать ключи. Ключ ко второму слою напишешь ты.

Маньяк помолчал. А потом засмеялся — коротко, удивлённо, будто я сказал что-то очень смешное и очень неожиданное.

— Я? Лёнь, ты меня, конечно, любишь, но погоди. — Он всё ещё посмеивался. — Ключи — это не моя тема. Я не специализируюсь на ключах. Чтобы написать ключ к такому, тебе надо обращаться к Зуко.

Сердце у меня ёкнуло, и я понял, что именно этого и ждал — сам того не зная. Зуко. Компьютерный Маг.

— Маньяк прав, — сказал я, и голос у меня сел. — Так вот кто. А я-то всё гадал, кого из вас имел в виду Ромка. Слушай, Шурка... а где он теперь обретается? Телесно, я имею в виду.

— О, у него всё сложно, — сказал Маньяк, и в голосе его появилось то наслаждение, с каким рассказывают про старых знакомых, у которых всё пошло не по плану. — Ты же помнишь, чем кончилась та заварушка, когда он ещё держал в Америке свою империю и звался Компьютерным Магом? Перед самым крахом он отправил письмо всем своим сотрудникам. Разом. Похабное письмо — со всеми подробностями, что он о каждом из них думает. Ну, ты понимаешь. Гениально и подло. Только вот рассылка у него сбоила, и ушло оно не врагам, которых он собирался уволить, а своим. Всем сразу.

— И после этого дела у него пошли неважно, — догадался я.

— Пошли неважно, — подтвердил Маньяк с удовольствием. — Империя рухнула в тот же день. Кто ж будет работать на человека, который тебе такое написал? Он ещё пытался отшутиться, да не вышло. Собрал чемодан и вернулся из Америки. Теперь он в Питере. Организовал фирму по защитным системам. ShieldBank называется. Банки свои деньги доверяют только параноикам, так что дело пошло. Собрал вокруг себя банду таких же безбашенных программистов, как сам, и лепит для банков софт. Ребята у него, кстати, так и зовутся — «Зукины дети». В честь папы.

«Зукины дети», — повторил я про себя, и впервые за долгие дни мне захотелось улыбнуться. Ну надо же. Компьютерный Маг, который лепит банковские замки и растит собствен-

ных детей. Старый знакомый, которого я почти забыл, — и который, если верить Ромке, один на свете способен создать то, чего нет.

— Слушай, а он пойдёт? — спросил я. — Он же теперь остепенился. Бизнес, репутация, «Зукины дети» на балансе.

— Лёнь. — Маньяк помолчал, и я услышал, как он улыбается. — Ты же сам сказал: один человек может создать то, чего нет. Ты правда думаешь, что Зуко откажется от такого? Он всю жизнь только и делает, что создаёт миры, которым никто не давал права быть. Просто раньше он делал это ради денег и славы. А тут — ради того, что больше любого банка. Я его найду. И растрясусь.

— Спасибо, Шурка.

— Не за что, — сказал он, и я услышал, как он потягивается, как хрустит у него шея. — Считаю, я в деле. И Падлу с Патом не забуду — они ведь тоже по этой части, руки у них незамыленные. Найдём мы тебе твой второй слой, Лёнь. — Он помолчал, и голос его стал другим — насмешливым и чуть грустным сразу. — А знаешь, что я скажу тебе на прощание? Я всю жизнь это повторял, когда брался за невозможное. — И он процитировал, смакуя каждое слово, как старый портвейн: «А в кипящих котлах прежних боен и смут / столько пищи для маленьких наших мозгов!» — Вот и мы с тобой опять заглядываем в котёл, брат. Ну, держись.

Трубка умолкла. Я ещё долго стоял, глядя на ночь за окном, и слушал, как на другом конце океана рассвет медленно съедает темноту. Маньяк был в деле. Падла и Пат — тоже, это я знал наверняка: где Маньяк, там и они, как вода и берег. А где-то в Питере, в офисе с вывеской ShieldBank, сидел человек, которого я знал под именем Зуко. Компьютерный Маг. Тот, кто, если верить Ромке, умеет поверить в дверь, которой ещё нет, — и сделать так, чтобы она была. Я вспомнил его смех, его наглость, его руки, из-под которых выходил код, живший собственной жизнью. Ромка сказал: ключ не в программе, ключ в том, кто способен его написать. Если это правда — я только что вспомнил, где искать этого человека. Осталось достучаться до Зуко.

Стена

«Осталось достучаться до Зуко». Красиво я сказал себе тогда, на рассвете, положив трубку после разговора с Маньяком. Красиво и обнадеживающе — как всегда говорят себе люди, которые ещё не поняли, во что ввязались. Потому что стучат в дверь, которая есть. А наша дверь, как выяснилось очень скоро, стояла пока только в наших головах — и до неё надо было ещё дойти, а потом и построить. Достучаться до Зуко было полдела. Другая половина называлась проще и страшнее: построить стену, в которую нам потом предстояло стучаться.

Маньяк прилетел через сутки. С Сан-Франциско, через океан, и, кажется, всё это время не спал — зато успел переговорить и со мной, и с теми, кого считал нужным. Найти Зуко он, конечно, не успел — не до того было. Успел он другое: собрать нас всех и настоять, чтобы встретились не в Москве и не в Глубине, а у Чингиза, на даче под Зарайском, на берегу Осетра. Там, где можно дышать, жечь угли и говорить о невозможном так, будто оно само собой разумеется. Чингиз в таких делах не участвовал никогда. Он их просто обустроивал: дом, стол, еда, тишина, чтобы хакерам было где спорить.

Солнце садилось за кромку леса, и длинные тени ложились на деревянный настил террасы. Воздух пах дымом, речной сыростью и жареным мясом. Чингиз, как всегда, держался в стороне от бурных обсуждений — молча колдовал у мангала, поодаль, переворачивая шампуры. Его молчание было не обидой и не равнодушием. Просто он знал: когда эти четверо собираются, лучше не встречать, а кормить.

За тяжёлым дубовым столом, заваленным старыми ноутбуками, распечатками схем и пустыми банками из-под энергетика, сидели мы вчетвером: я, Маньяк, Падла и Пат. Вместо вирта перед нами лежали реальные экраны, но говорили мы всё о том же — о Глубине, о втором слое, о ключах и о задачах, которых ещё никто не поставил, потому что они не решаются, а только ждут. Никто не спрашивал Маньяка, нашёл ли он Зуко. Мы все знали: если нашёл — скажет. Если нет — тем более.

— Значит, нужна программа, что возьмёт дайвера за шкирку и перетащит туда, куда он сам не доплывёт, — переписшет его протокол под язык памяти. — Маньяк щёлкнул крышкой своего ноутбука, будто этим щелчком можно было зафиксировать идею. Он помолчал, прислушиваясь не к эху собственных слов, а к вечернему стрекоту кузнечиков и тихому шипению жира, капающего на угли. — Это не дип. Это переделка дипа. Дип два.

— Дип два, — повторил Падла, откинувшись на спинку скрипучего садового стула. В его голосе не было ни лени, ни насмешки — только интерес, острый и жадный, как у мальчишки, которому показали секретный люк в полу. — Ты делаешь ядро, ты в вирусах док. Пат — обвязку, у него руки незамыленные. А я скажу вам обоим, что вы напортачили, и переделаю за вас. Если не я — то кто?

Пат поёжился. Не от вечерней прохлады — от того, как плотно смыкались вокруг него чужие планы. Он крутил в пальцах полупрозрачный модуль на плате — тот самый, похожий на стеклянную каплю, — и смотрел на него так, будто надеялся увидеть внутри своё отражение. Ему было около тридцати, и он умел то, чему старые хакеры учатся годами: слушать. Не код — людей. Иной раз мне казалось, что Пат слышит нас чуть раньше, чем мы сами договариваем свои фразы.

— А если мы всё это сделаем, — тихо спросил он, — и запустим... нас туда просто не пустят.

Все разом обернулись к нему. Даже Падла перестал раскачиваться на стуле.

— Что значит — не пустят? — рывкнул Маньяк, но тут же осадил себя, понизив голос, будто не хотел, чтобы услышал даже лес. — Мы же сами пишем протокол. Мы сами задаём правила.

Пат покачал головой.

— Правила задаёт Глубина. Мы можем написать хоть тысячу протоколов, но второй слой не пропустит нас, если у нас не будет ключа. Не цифрового. Не пароля. А настоящего ключа — того, что открывает не дверь, а саму ткань слоя.

— Ты о чём?

— Я о Зуко, — сказал Пат твёрдо. — Без него мы даже не войдём.

Я кивнул — медленно, задумчиво, подтверждая то, что знал и сам. Когда я звонил Маньяку посреди ночи через пол-океана и говорил то, во что сам до конца не верил, мне казалось, что главное — чтобы он согласился. А теперь вдруг обнаружилось, что я действительно верю, — и это было непривычно, как новая глубина, в которой ещё не научился дышать.

— Когда я звонил тебе, Шурка, — сказал я, обводя взглядом всех троих, — ещё до того, как мы собрались здесь... ты сам тогда сказал: «Ключ к динамической защите может написать только Зуко. Только он. Никто другой. Не потому что умнее — потому что иначе видит». Твои слова. Я их не выдумал.

Маньяк молча кивнул, будто и не думал отпираться.

— Да, говорил. И повторяю. Зуко — единственный, кто пишет ключи не как код, а как... разговор. Он не ломает замок — он с ним договаривается. Я вирусы пишу, я ломать умею. Но ключ — это не взлом. Это договор. А я договариваться не умею. Вот Падла умеет, но по-другому — он договорится с кем угодно, только не с шифром. А Зуко...

Падла хмыкнул, покосился в сторону мангала, где Чингиз, не поднимая глаз, ловко подцепил щипцами очередной шампур.

— Зуко. Компьютерный Маг. Специалист по ключам, шифрам и защите. Да, без него никак. Второй слой — это не код, который можно взломать грубой силой. Это замок, который реагирует на намерение. На понимание. На уважение к механизму.

— Именно, — кивнул Пат. — Он не просто знает шифры. Он понимает, как они дышат. Как живут. Второй слой построен на динамических ключах — они меняются каждую миллисекунду, подстраиваясь под входящего. Если ты не знаешь ритма, не чувствуешь, когда ключ становится уязвим, тебя просто отбросит. Или хуже — захватит.

Маньяк провёл ладонью по лицу — жест, означавший усталость, а теперь ещё и лёгкую неловкость от того, что всё оказалось сложнее, чем он рассчитывал.

— Допустим, нам нужен Зуко. Но он не любит работать в команде. Он вообще не любит, когда над душой стоят.

Я тихо хмыкнул и посмотрел на реку. По тёмной воде скользила длинная полоса заката, будто кто-то прочертил по ней светящуюся линию. Мы плыли к Зуко, как плывут к маяку, ещё не зная, что маяк этот громче любой сирены и что за его светом не спрятаться в тишине.

— Тут ты ошибаешься, Маньяк. Зуко как раз обожает команды. Просто любая команда рядом с ним через полчаса превращается в цирковую труппу клоунов. Потому что он не замолкает ни на секунду. У него в голове будто бесконечный стрим: история криптографии, баги в древних протоколах, почему все современные фреймворки — костыли, этика взлома, философия ключей... И всё это — одновременно, с примерами, отступлениями и анекдотами из девяностых.

Падла фыркнул, глянул на Чингиза, который наконец поднял глаза, коротко и понимающе кивнул — мол, знаю я таких говорливых, — и снова уткнулся в шампуры.

— То есть он не против команды, он против тишины?

— Он против тишины, против покоя, против «давай просто сделаем и уйдём». Рядом с ним невозможно просто «сделать». Ты либо втягиваешься в дискуссию, либо прячешься.

— Куда прячешься? — спросил Пат.

— В тапочки, — серьёзно сказал я. — В те самые крылатые Зукины тапочки, которые унёс с собой Неудачник. Говорят, волшебные: наденешь — и Зуко тебя не видит и не слышит. Просто вещает в пространство, а ты сидишь в тапочках и делаешь свою работу.

Пат хихикнул, потом попытался сделать серьёзное лицо, но не вышло.

— Ладно, звучит как бред, но я понял. Он не одиночка. Он — ураган, который тащит всех за собой. И если ты не держишь курс, тебя крутит и швыряет.

— Вот именно, — кивнул я. — Но если умеешь держаться за штурвал — с ним можно свернуть горы. Он заряжает энергией. Просто энергия эта... немного неуправляемая.

— Так что теперь Зуко не только программист, — добавил Падла с хитрой ухмылкой. — Он ещё и ортопед. Руки Пату выправил. Теперь парень хоть что-то путное пишет.

Пат закатил глаза, но в его взгляде читалось не столько раздражение, сколько благодарность — тихая, спрятанная за смущением.

— Он не руки мне выправлял, — тихо сказал он. — Он мне голову на место ставил. Объяснил, что защита — это не стена. Это диалог. И если ты не умеешь слушать, никакой код не поможет.

Над террасой повисла короткая, тёплая тишина. Её нарушали только потрескивание углей да тихий плеск воды у берега. Чингиз подошёл, молча поставил на стол тарелку с дымящимися ломтями мяса, кивнул и снова ушёл к мангалу — туда, где проще: есть угли, есть мясо, есть время, чтобы всё прожарилось. Я проводил его взглядом и поймал себя на мысли, что завидую ему. Чингиз не нырял в Глубину. Он стоял на берегу и кормил тех, кто ныряет. Может, в этом и есть самое честное из занятий — не пытаться стать глубже, чем ты есть, а быть твёрдым дном для тех, кто всё равно вынырнет.

— Ладно, — подытожил Маньяк, переключаясь в рабочий режим. — Значит, едем к Зуко. Пусть тащит нас за собой, хоть как ураган. Лишь бы не сдул по дороге.

И тут Падла вдруг дёрнулся, будто его ударило током.

— Ептыть! — вскричал он, да так, что даже Чингиз у мангала на секунду замер, не донеся щипцы до шампура. — Мы тут все такие умные, ключи-шифры, Зуко-муко... а забыли одну мелочь.

Он развёл руками с видом человека, который только что обнаружил, что строит мост через реку, которой нет.

— Лёнька, ты сам сказал: пока мы не попадём на второй слой — его вообще не существует. Нету. Пусто. Ноль. Ну вот скажи мне: к чему мы ключ-то подбирать будем? К стене, которой нет? Мы будем биться башкой в стену, причём в стену, которой нет. Это даже не тупик — это тупик без стен.

Повисла тишина. Та самая, что бывает, когда все вдруг понимают то, что уже давно знали, но боялись сказать вслух. Падла сказал это первым — потому что Падла никогда не боялся говорить вслух то, что боишься услышать.

Я медленно кивнул. Я и сам это понимал — но услышанное от Падлы, вслух, грубо, без смягчающих оборотов, прозвучало как пощёчина.

— Он прав, — сказал я тихо. — Второй слой — это не пароль, не замок, не шифр. Это... пространство. Его сначала нужно создать. А потом уже открывать. Или не открывать.

Маньяк снял очки, положил их на стол рядом с распечаткой схемы и провёл пальцами по переносице.

— Хорошо. Давайте вспомним, как появился первый слой. Не легенду — технику.

Он взял маркер и начал чертить прямо на ламинированной столешнице — получались кривые, но понятные стрелки и квадраты.

— Дибенко. Он не просто «нырнул» в Глубину. Он себя сканировал. Свой виртуальный образ, свою личность, свой дайверский профиль. Упаковал это в структуру, которую Глубина смогла распознать как... среду. Не как объект, не как программу — как среду. Как простран-

ство, в котором можно существовать. Первый слой — это не код и не архитектура в привычном смысле. Это отражение Дибенко, спроецированное на ткань Глубины так, что Глубина приняла его за часть себя.

Пат подался вперёд, и стеклянная капля в его руке, казалось, стала чуть теплее от напряжения момента.

— То есть первый слой — это не то, что построили, — медленно произнёс он. — Это то, во что... выросли? Из скана одного человека?

— Именно, — кивнул Маньяк. — Дибенко был первым дайвером. Его профиль — профиль дайвера — стал шаблоном. Глубина взяла этот шаблон и... развернула. Как разворачивается архив: внутри один файл, а когда система его читает, он создаёт вокруг себя целую файловую структуру. Каталоги, подкаталоги, ссылки. Папки, которых не было, пока архив не открыли.

— Аналогия попроще можно? — буркнул Падла.

— Семечко, — сказал я, глядя на тёмную воду Осетра, по которой теперь бежала рябь от вечернего ветра. — Дибенко посадил в Глубину семечко — себя. Глубина проросла вокруг него. Первый слой — это дерево, которое выросло из одного семени.

— Красиво, — хмыкнул Падла. — Но мне нужно не красиво, а технически. Что у нас есть, если разложить по полочкам?

Маньяк снова черкнул маркером по столу.

— Вот что мы знаем. Первый слой создавался в три этапа. Первое — сканирование. Дибенко снял свой профиль: нейронную активность в момент дайва, паттерны взаимодействия с Глубиной, всё, что можно было оцифровать. Грубо — слепок личности.

— Второе — проекция. Он загрузил этот слепок обратно в Глубину, но не как файл, а как точку присутствия. Глубина восприняла эту точку как «свой» элемент. Не вторжение, не вирус — часть себя. И начала достраивать вокруг неё структуру. Так появился первый слой.

— Третье — стабилизация. Когда структура стала достаточно плотной, её зафиксировали. Дибенко написал программы, которые удерживали слой от коллапса. Потому что без поддержки Глубина могла «забыть» о нём — схлопнуть, как схлопывается незакреплённое соединение.

— Так, — Падла побарабанил пальцами по столу, и этот стук прозвучал почти как ритм, отбиваемый по клавишам. — Значит, для второго слоя нам нужно то же самое, но... в чём разница? Почему мы не можем просто повторить?

— Потому что второй слой — это не отражение одного человека. Первый был отражением Дибенко: один профиль, одна личность, один дайвер. Второй, если он будет таким же, станет просто копией первого — другой «комнатой» в том же доме. Нам нужно нечто другое. Глубже. Не отражение личности — отражение самой Глубины.

Пат присвистнул.

— То есть мы должны просканировать не человека, а Глубину? Но как? Она же не объект. Она... процесс.

— В том-то и дело, — кивнул я. — Мы не можем просканировать Глубину так, как Дибенко просканировал себя. Мы должны... попросить её саму выдать свой профиль. Добровольно. А для этого нужно говорить с ней на языке, который она понимает.

— На языке памяти, — вставил Маньяк. — Вот почему дип два — это не просто дип. Это переписка протокола. Мы не «ныряем» во второй слой. Мы заставляем Глубину создать его — вокруг нас, через нас. Мы становимся тем семечком, из которого вырастет второй уровень. Но семечко должно быть не человеческим, а... гибридным. Человек плюс Глубина. Дайвер, переписанный под язык памяти.

— А Зуко? — спросил Пат.

— Зуко — это замок, — ответил я, глядя на него. — Точнее, тот, кто умеет разговаривать с замком. Но если двери нет — замок не нужен. Сначала нужно создать дверь. А потом уже звать Зуко, чтобы он научил нас её открывать. И пусть тогда хоть три часа рассказывает про этику ключей — главное, чтобы открыл.

Падла хмыкнул, потёр подбородок и покосился на тарелку с шашлыком, будто искал в ней подсказку.

— То есть мы должны: написать ядро, которое перепишет протокол дайвера под язык памяти, — это Маньяк. Сделать обвязку, которая удержит дайвера от растворения в процессе, — это Пат. Найти способ заставить Глубину просканировать саму себя и развернуть результат во второй слой — это...

— Это ты, — сказал Маньяк.

— Я? — удивился Падла.

— Ты у нас криворукий ортопед-самоучка, — чуть усмехнулся Маньяк. — Но ты единственный, кто умеет смотреть на чужой код и видеть в нём то, чего не видит автор. Тебе и карты в руки. Ты будешь тем, кто свяжет ядро с обвязкой и с Глубиной так, чтобы всё это не развалилось на полпути.

— И только потом — Зуко, — подытожил я. — Когда второй слой будет существовать. Когда будет стена, в которую можно биться. А до этого мы — не взломщики. Мы строители.

Падла молча кивнул. Потом посмотрел на всех троих — на Маньяка, уже мысленно писавшего код, на Пата, сжимавшего в руке свой модуль, на меня, спокойного и собранного, будто я уже видел результат. Где-то рядом Чингиз тихо звякнул щипцами о шампур, и этот простой, земной звук вдруг напомнил всем: даже самые безумные планы начинаются с чего-то очень обычного.

— Ну что ж, — сказал Падла, и голос его был не ленивый и не насмешливый — деловой, редкий для него. — Значит, строим стену. Чтобы потом научиться её открывать. Пусть Зуко потом хоть цирк устраивает — главное, чтобы дверь была настоящая.

— Четырёх клоунов в труппе, — поправил Маньяк. — Если уж цирк — то полный состав.

Чингиз наконец вернулся. Сел на край скамьи, не вмешиваясь, просто присутствуя, и подвинул к Пату тарелку.

— Ешьте, — проговорил он тихо, почти шёпотом, будто боялся спугнуть момент. — Пока горячее.

И тут началось то, ради чего Чингиз, наверное, и затевал весь этот вечер. На стол, потеснив ноутбуки и распечатки, въехало всё, что полдня жило над углями и чего я за разговором почти не замечал, — а теперь заметил сразу, всем телом сразу, как замечают запах жареного мяса, когда проголодались до звона в ушах.

Шашлык был из той породы, о которой говорят «настоящий», хотя никто толком не объяснит, что это значит. Крупные куски, подрумяненные до тёмно-золотой корочки, с прозрачными каплями жира, что ещё потрескивали на поверхности; внутри они оставались сочными, и сок выступал на срезе, стоило взяться за шампур. Дымком от них тянуло так, что щекотало в носу, — лёгким, сладковатым, от виноградной лозы, которую Чингиз, оказывается, привёз с собой и жёг не спеша, как дрова для бани. Рядом лежал лаваш — тонкий, горячий, с пузырями, — лежали пучки зелени: кинза, укроп, зелёный лук. А венчала всё плоская аджика — густой, кирпично-красной, пахнущей чесноком и чем-то жгучим до слёз.

— Аджику мне присылают прямо из Грузии, — сказал Чингиз, подвигая плоску к центру. В его голосе впервые за вечер послышалось нечто вроде гордости — редкое для человека, который гордится, кажется, только мангалом и молчанием. — Настоящую. Жгучую. Не ту, что в банках продают: там краска да уксус. Это бабушка одного моего знакомого делает. Летом — острее, зимой — с чесноком. Сейчас как раз летняя. Берегитесь.

Кто-то — по-моему, Маньяк — потянулся за бутылкой тёмно-рубинового вина, разлил по стаканам, и вино пахло вишней и вечером. Чингиз, не спрашивая, поставил передо мной рюмку и налил водки из запотевшей бутылки. Сам он пить бросил давно — только наливал, как наливают хозяева, для которых угостить гостя важнее привычки. Пат, который и в тридцать оставался самым тихим в этой компании, налил себе воды и сразу потянулся за куском лаваша. А я поймал себя на том, что пью свою рюмку не как лекарство от разговора, а как полагается — маленькими глотками, закусывая горячим мясом, — и что мир от этого делается проще и понятнее. Глубина со своими слоями, которые ещё надо создать из ничего, подождёт. Есть угли, есть мясо, есть вечер. Всё остальное — потом.

Падла, единственный, кто не тянулся ни к вину, ни к водке, взял свою неизменную бутылку «Жигулёвского» — мутно-золотистого, с пенной шапкой, — налил в гранёный стакан и выпил так, как пьют воду: легко, без передышки, будто и не заметив. Потом отломил кусок лаваша, макнул в аджику, пожевал, и на рыжей его бороде осталась капелька — он смахнул её тыльной стороной ладони и удовлетворённо крикнул.

— Закуска божественная, — объявил он. — А пиво... пиво как пиво. Моё.

— «Жигулёвское» твоё — это диагноз, — усмехнулся Маньяк, отхлебнув вина. — Век не меняешься. Хоть бы раз что-нибудь другое попробовал.

— А я пробовал, — вдруг сказал Падла, и глаза его хитро блеснули. — Полгода назад. В Самаре был, по делам. Думал: там, у самого пивзавода, «Жигулёвское» — ну просто песня. А вышло вон как. — Он отставил стакан, облизнул губы и посмотрел на нас так, как смотрят люди, готовые рассказывать долго и со вкусом. Пат подобрался, Маньяк отложил вилку. Даже Чингиз, кажется, замедлил движение щипцов. Падла редко рассказывал — тем дороже были его байки.

— Значит, так. Самара. Город пива — это вам не Москва, где у вас там бары с крафтом по четыреста рублей за кружку и пеной, как у мыла. Там пиво — религия. И храмы этой религии — пивнухи. В каждом доме, я вам говорю, в каждом, на первом этаже — пивнуха. Как у нас аптека. Ну и, само собой, я напрямик к заводу. От него-то и разливушка настоящая, из-под крана, тёплая, как парное молоко, только пеной бьёт. И зашёл я в пивнуху, что прямо у завода. Называется «На дне». — Он помолчал для эффекта. — Да-да. «На дне». Просто «Дно», если покороче. Вывеска такая кривая, пьяная, будто её сам Горький писал. А может, и писал. Кто их там разберёт.

— И что там за пиво? — спросил Пат, который всегда понимал, что такие вещи важны.

— О-о-о, — протянул Падла, закатывая глаза, будто вспоминал святыню. — Вот это был ассортимент, я вам доложу. Сначала — «Жигулёвское». Классика. Полстраны на нём выросло, и я в том числе. Потом — «Самарское», посветлее, помягче. Потом — «Фон Вакано». Заграничное имя, а варит его всё тот же наш завод: наследство немецкое, ещё с царских времён. А потом — «Вакано 1881». Вот это, скажу я вам, уже не пиво, это... — Падла поискал слово, не нашёл и махнул рукой. — Ну, короче. Если «Жигулёвское» — это дом, где ты вырос, то «Вакано 1881» — это дом, где тебя ждали всю жизнь, только ты адреса не знал.

Я хмыкнул. Метафора была точной — неожиданно точной для человека, который в Глубину никогда не нырял, а только во всё остальное.

— И какой вывод ты сделал, Антон? — спросил я.

— А вывод простой. — Падла важно поднял палец. — «Жигулёвское» — это классика. На нём всё держится. Но «Вакано»... «Вакано», конечно, получше. Объективно получше, я вам как специалист говорю. — Он помолчал, и в глазах его мелькнуло что-то почти грустное. — Только изменять себе я не намерен. Уж простите.

— Почему? — не понял Пат. — Если лучше, то почему не пить лучшее?

— А ты попробуй достань его в Москве, — вздохнул Падла. — «Самарское», «Вакано» эти — их туда не возят. Не доезжают они до Москвы, понимаешь? Всё хорошее оседает дома, у

завода. А у нас что есть? У нас есть «Жигулёвское» рязанского разлива. Вот и выходит: чтобы пить «Вакано», надо в Самару ехать, а чтобы пить в Москве — надо пить «Жигулёвское». Так что буду я и дальше пить своё, рязанское. Зато своё и без обмана. — Он отхлебнул из гранёного стакана и смачно крикнул. — Верите, полгода прошло, а я до сих пор его пью и не жалуюсь. Это вам не измена — это верность. Хоть и вынужденная.

— А ещё, — оживился Падла, — там я раков ел. Столько, сколько ты, Лёнь, за всю жизнь, наверное, не видел. Гору. Две горы. Три. — Он развёл руки насколько хватало, и Пат засмеялся. — Рак — он же такой, зараза: начнёшь — не остановишься. Пиво без раков — это не пиво, а недоразумение. Сидели мы там, в этом «Дне», лузгали раков, запивали разливухой, и я думал: вот она, настоящая жизнь, без всяких там глубин и слоёв. А наутро понял: всё, хватит с меня раков. — Он поморщился, передёрнул плечами. — Теперь я их просто видеть не могу. Покажут мне где-нибудь рака — и всё, икры сводит. Переел. С непривычки-то.

— Ладно, а что за Самара-то вообще, если честно? — спросил Маньяк, прищурившись. — Я там не был. Только слышал, что город пивной.

— Город пивной — это мягко сказано, — оживился Падла, явно радуясь, что его разговорили. — Там пиво пьют как воду. Я серьёзно. Воды там, считай, и не пьют вовсе — зачем, если пиво есть. И вот что забавно. У них принято пить только такое пиво, чтобы бутылка была здоровая. Полуторалитровая — это норма, это так, перекусить. А уважающий себя человек берёт пятилитровую. Пластиковую. Такую, знаешь, канистру с ручкой. Придёшь домой — поставил на стол, как кувшин, и пьёшь из неё весь вечер. Красота.

Пат фыркнул в кулак.

— А пивнухи, говорю же, в каждом доме, — продолжал Падла. — И вот заметьте, какая у них, у самарцев, наука: пивнуха, аптека и наркология — и все три на каждом углу, рядышком, чтобы человеку далеко не ходить. Сначала в пивнуху — за пивом. Потом, если что не так, — в аптеку, за таблеткой. А если совсем не так — вот она, наркология, рукой подать. Всё по-соседски, всё рядом. Берегут человека, заботятся. — Он поднял стакан, салютуя невидимой Самаре. — За Самару, братцы! За то, что есть ещё на земле города, где пиво — это вода, а пивнухи — это храмы!

Все засмеялись. Маньяк, который в жизни не пил ничего крепче хорошего коньяка, покачал головой с видом человека, услышавшего байку про чужую планету. Пат хохотал открыто, заразительно, и Падла, краем глаза глянув на него, с явным усилием не добавил к своему рассказу пару слов, которые при Пате не говорил никогда — даже под угрозой провала операции. Я заметил это лишь потому, что знал, куда смотреть: губы у Падлы дрогнули, сжались, разжались, и вместо крепкого словца он выдохнул только:

— ...вот так-то, ребята. И не говорите потом, что я вам ничего не рассказывал.

Я улыбнулся в стакан. Падла при Пате не ругался — не из стеснения, а из того странного уважения, какое старые сорвиголовы питают к человеку, который вырос в чужой роскоши и навсегда остался тихим. И байка его была тем ценнее, что он рассказывал её, то и дело оступаясь на самом краю, — и ни разу не сорвался.

Трапеза шла своим чередом. Шашлык кончался, но Чингиз, не спрашивая, приносил новый — и каждый раз мясо оказывалось ещё сочнее, ещё дымнее, будто он берёт лучшее напоследок. Кто-то допивал вино, кто-то наливал по новой рюмке водки, и я ловил себя на том, что мыслями то и дело ныряю обратно — на дно разговора, туда, где лежала стена, которую мы решили строить. Трапеза у Чингиза была как песок на дне: тёплая, надёжная, держащая тебя, пока ты собираешься с силами перед следующим погружением.

Наконец Падла отодвинул пустой стакан, сыто откинулся на спинку скрипучего стула и подытожил:

— Хорошо посидели. Закуска — царская. Разговор — тоже. Только вот разговор наш, братцы, пока на словах. А дело — оно впереди, и дело это — как тот шашлык: пока не начнёшь жарить, не поймёшь, что к чему.

— Жарить начнём завтра, — сказал Маньяк, и в голосе его снова прорезалась та спокойная уверенность, с какой он всегда брался за невозможное. — Семечко есть. План есть. Ядро напишу я. Пат обвязку сделает. Ты, — он кивнул Падле, — свяжешь. А когда стена будет готова — поедem к Зуко и попросим у него ключ. Пусть рассказывает нам про этику ключей хоть до утра. Лишь бы открыл.

Я слушал и смотрел, как над Осетром догорает последняя полоса заката, как в темнеющей воде отражается тёплый свет из окна дачи. Все мы четверо — дайверы и хакеры — привыкли жить на поверхности: в коде, в железе, в реальных городах, в пивнухах, которые потом не забываются. А нам предстояло то, что не умел никто: не нырнуть в готовую глубину, а построить дно под собой, пlying. Где-то в Питере, в офисе с вывеской ShieldBank, человек по имени Зуко ещё не знал, что мы строим для него дверь. Но мы её построим. А потом постучим — и пусть он сам решает, открывать или нет.

«Осталось достучаться до Зуко», — повторил я про себя и усмехнулся. Красиво сказано. Только стучать мы будем не в дверь, которой нет, а в дверь, которую построим сами. На это уйдёт не одна ночь. Но у дайверов и хакеров всегда было одно преимущество перед здравым смыслом: мы умеем верить в то, чего ещё нет. Как Падла — в своё рязанское «Жигулёвское», которое не променяет ни на какое «Вакано». Мир держится на таких вещах. И на стенах, которые мы строим сами, — чтобы потом, если понадобится, биться в них головой.

Чингиз поднялся, подбросил в мангал углей, и синие языки пламени лизнули темноту. Трапеза кончилась. Дело начиналось.

Компас

«Трапеза кончилась. Дело начиналось». Я стоял у перил, когда Чингиз подбросил угли и синие языки пламени лизнули темноту, — и эти слова, мои же, вдруг стали отчётливыми, как команда ныряльщику: «пошёл». Дело началось — только пошло оно не так, как мы планировали, а как ему было угодно.

Стена, в которую нам предстояло стучаться, выросла быстрее, чем можно было ждать. Не на бумаге и не в коде, хотя кода там было на три жизни вперёд, — она проросла в головах: сначала у Маньяка, привезшего из-за океана ядро будущего слоя; потом у Пата, чьи обвязки ложились одна к одной, как страницы, что читаешь наизусть; под конец и у Падлы, который всё связывал в один узел. Семечко Дибенко, о котором Маньяк говорил как о живом, оказалось живым. Оставалось лишь дать ему почву.

И тут Маньяк сделал то, чего я от него не ждал: на пятый день решил, что ездить к Зуко мы не будем. Пусть едет он. По зову.

— С чего вдруг? — спросил я. — Ты же сам говорил: стена готова — и в Питер, просить ключ.

— А я подумал про этику ключей, — ответил он. — Поедем к нему в логово — будем просить на его территории, где он всегда прав. А позовём сюда, к стене, которая уже дышит, — и он не удержится. Зуко не умеет проходить мимо замка, к которому нет ключа. А мы для него как раз такой замок. Пусть приедет, посмотрит, сам решит.

И он позвонил Зуко. И Зуко молчал целых три секунды — вечность для Мага, который не замолкает даже во сне.

— Приезжай, — сказал Маньяк в трубку. — Не по делу. Просто посмотришь на то, что из семечка Дибенко выросло. Поедим. А ключ — сам решишь, давать его или нет. Уговаривать не стану.

И вот настал вечер, когда всё для встречи было готово: и стена, и терраса, и стол. Не хватало только гостя. Маг опаздывал. Впрочем, Зуко не опаздывает никогда — он выбирает момент.

Над Осетром повисла та самая вечерняя тишина, когда даже кузнечики будто делают паузу, чтобы послушать реку. На террасе Чингизовой дачи всё было по-прежнему: на столе — ноутбуки, распечатки, пустые банки, рядом — тёплая тарелка с остатками шашлыка, прикрытая фольгой. Мы — я, Маньяк, Падла и Пат — сидели, склонившись над схемой на столешнице, и тихо, почти шёпотом, спорили про проекции и протоколы. Чингиз где-то поодаль молча подкидывал угли — он уже понял: пока эти не договорятся, лучше не мешать.

И вдруг тишину разорвал резкий, бодрый рёв мотора. Такой, что даже туи у дорожки будто слегка вздрогнули.

— Это ещё что... — начал Падла, поднимая голову, но не успел договорить.

Из-за поворота реки вылетела лёгкая моторная лодка, накренившись на вираже так, будто пилот решил доказать, что законы физики — это рекомендации, а не правила. За штурвалом стоял Зуко. В тёмных очках, в лёгкой ветровке, с развевающимся шарфом (хотя ветра почти не было), он держал курс прямо на берег, будто собирался пришвартоваться носом в газон. И пел. Громко, уверенно, с театральным надрывом:

«Уходим под воду в нейтральной воде...

Мы можем по году плевать на погоду...

А если накроют — локаторы взвоят...»

Пат узнал голос — и тут же, по старой памяти, втянул голову в плечи, будто надеялся стать незаметнее, и торопливо попытался спрятаться за широкой спиной Падлы. Тот даже не удивился: просто чуть подвинулся, давая Пату место в своём «укрытии», и хмыкнул:

— Ну вот. Цирк приехал.

Лодка резко сбросила ход, чиркнула бортом по мелководью и замерла у самого берега, едва не уткнувшись носом в деревянные сваи причала. Зуко одним движением спрыгнул на мостки, снял очки, водрузил их на макушку и, широко раскинув руки, провозгласил:

— Приветствую, строители невозможного! Я прибыл по зову Маньяка, проделав путь, достойный эпоса: самолёт — Москва-река — Ока — Осетр. И да, я пел всю дорогу. Потому что, как я всегда говорил, мог бы быть оперным певцом. Но выбрал шифры. Судьба, понимаешь?

Маньяк только головой покачал, но уголки губ у него дрогнули.

— Ты чуть причал не снёс.

— А это был элемент шоу, — Зуко подмигнул и бодро зашагал по мосткам к террасе, перепрыгивая через ступеньки. — Нельзя же появляться буднично. Будто курьер с пищей. Я — Компьютерный Маг. Моё появление должно быть событием.

Он взлетел по ступеням на террасу, замер на секунду, оглядывая всех с видом человека, который только что спас мир и теперь ждёт хотя бы чашки чая, а потом вдруг ткнул пальцем в меня:

— Так, стоп. Главный вопрос. Как там Мадам Нике? Как поживает Вика? Эх, были времена... Помню, она мне один раз так посмотрела, что я от страха пароль от тестового контура забыл. Настоящая женщина. С характером.

Я фыркнул, но в голосе у меня была улыбка:

— С Викой всё нормально, Зуко. Жива, здорова, и, что самое важное, не знает, что ты про неё вспоминаешь.

— Это ты зря, — Зуко театрально вздохнул, опускаясь на свободный стул так, будто это трон. — Такие женщины должны знать, что их помнят.

Пат, всё ещё наполовину спрятавшийся за Падлой, осторожно выглянул и тихо спросил:

— Тапочки свои прихватил?

Зуко замер. Потом медленно повернул голову к Пату.

— Что? Какие тапочки?

— Крылатые, — спокойно сказал Пат, снова прячась за спиной Падлы, будто от самого упоминания этих тапочек становилось спокойнее. — Леонид тут всем рассказал, что в них можно прятаться от тебя. Что если в них сесть, ты человека не видишь и не слышишь, просто продолжаешь вещать в пространство.

На секунду на террасе повисла тишина. Даже река будто притихла.

А потом Зуко расхохотался — громко, заразительно, так, что Чингиз у мангала даже выпрямился и посмотрел в нашу сторону, будто проверяя, всё ли в порядке.

— Да вы что, сговорились?! — Зуко хлопнул ладонью по столу, и от этого звука пустая банка из-под энергетика подпрыгнула. — Это легенда! Миф! Я не настолько громкий! Ну, ладно, может, немного... Но тапочки — это уже перебор. Я их вообще не ношу. Это Неудачник зачем-то утащил. Наверное, думал, что они волшебные.

— А вдруг и правда волшебные, — Падла ухмыльнулся, не сдвинувшись с места, так что Пат по-прежнему оставался за его спиной. — Может, поэтому у нас всё и не срывается: нам не хватает волшебных тапочек.

Зуко махнул рукой:

— Давайте без мистики. Давайте про ключи. Про динамические протоколы. Про то, как заставить Глубину выдать свой профиль. Я всю дорогу думал об этом. И, кстати, придумал пару идей. Но сначала... — он покосился на тарелку, прикрытую фольгой, и глаза у него загорелись совсем другим огнём. — У вас тут хоть кусочек мяса остался? Я с дороги. Я после песни имею право на еду.

Чингиз, будто только этого и ждал, молча подошёл, снял фольгу, подвинул тарелку ближе к Зуко и поставил рядом стакан с морсом.

— Ешь, — сказал он тихо. — Пока горячее.

Зуко дожевывал кусок, зажмурился от удовольствия, будто пытался удержать этот вкус внутри, и наконец выдохнул:

— Вот это — еда. А не эти их проклятые американские барбекю.

Он махнул рукой, словно отгоняя от себя само воспоминание, и потянулся за стаканом морса. Я слушал и думал: этот вечно включённый человек не просто устал с дороги. Он давно не был там, где его понимают без слов. И теперь, наевшись, начинал оттаивать — а оттаявший Зуко честнее любого шифра.

— У них там всё какое-то... ненатуральное. Стейк — да, тут спорить не буду. Стейк у них умеют жарить. Толстый, сочный, с корочкой, чтобы сок внутри держался. Тут отдаю должное. Но всё остальное... — он поморщился, будто вспомнил что-то кислое. — Всё остальное — сплошная химия и маркетинг. Соусы в банках, мясо в маринадах, где уксуса больше, чем мяса. И главное — общение. Такое, будто его по сценарию репетировали. «Привет, как дела?» — «Отлично, спасибо!» — «А у меня тоже отлично!» И так по кругу, пока не надоест. Притянутое за уши, неестественное. Как будто все играют роли, а не живут.

Падла хмыкнул, но ничего не сказал — знал, что Зуко сейчас не для спора говорит, а чтобы выговориться.

— А у нас... — Зуко мечтательно закатил глаза. — Помните, как мы в Ленинградскую область ездили? Ранней осенью. Лес уже золотой, но ещё не мокрый, не сырой. Воздух такой, что его хочется пить. И тишина... не мёртвая, а живая. Птицы кричат, ветер шуршит, где-то белка по ветке прыгает. И вот ты идёшь с сумкой, в которой мангал, угли, мясо, хлеб, зелень, и знаешь: сейчас будет правильно.

Он откусил ещё кусок, медленно прожевывал, будто возвращаясь в тот день.

— Расстелили плед на траве, прямо между соснами. Не на какой-нибудь пластиковой скатерти, а на старом шерстяном пледе, который ещё от бабушки остался. И стол... ну какой там стол — просто всё на пледе: тарелки, хлеб, лук кольцами, помидоры, зелень пучками. И соль в спичечном коробке — потому что так вкуснее. И разговоры... настоящие. Без сценариев. Кто-то про работу, кто-то про детство, кто-то вообще ни о чём — про то, как белка на него смотрела. И никто не торопится, никто не смотрит на часы. Потому что время там другое. Оно не бежит, а течёт.

Зуко вздохнул, и в этом вздохе было столько тоски, что даже Падла перестал ухмыляться.

— И вот это — шашлык. Не просто мясо на огне, а... момент. Событие. А у них там — мероприятие. С таймером, с расписанием, с чек-листом: «пригласить десять человек», «купить пять видов соусов», «сделать фото для соцсетей». И всё ради картинки, а не ради того, чтобы просто посидеть, поесть, поговорить.

Он снова посмотрел на тарелку, на остатки шашлыка, и вдруг его лицо помрачнело.

— А меня, главное, не дождалась, — буркнул он чуть обиженно. — Я тут, можно сказать, через полстраны на лодке добирался, пел, старался произвести впечатление... А вы тут без меня всё съели. Теперь мне вот это холодное есть приходится. Холодный шашлык — это почти как американские барбекю: внешне похоже, а сути нет.

Я усмехнулся, но тут же постарался сделать лицо серьёзным.

— Прости, Зуко. Не думали, что ты так быстро появишься. Да ещё и с концертом.

— Да уж, — проворчал Зуко, но в голосе уже не было настоящей обиды — скорее театральная обида, для вида. — Ладно. Хоть холодное, да своё. Да и компания... компания тут правильная. Не по сценарию.

Он взял ещё кусок, на этот раз уже без драматизма, просто чтобы поесть, и кивнул в сторону реки.

— Главное, что тут не надо притворяться, что всё отлично. Тут можно быть просто... усталым, голодным, немного ворчливым. И тебя всё равно поймут. Вот это и есть настоящее.

Чингиз, который всё это время молча подкладывал угли в мангал, наконец подошёл, поставил рядом небольшую сковороду и кивнул Зуко:

— Сейчас подогрею. По-человечески. Без таймеров и чек-листов.

Зуко благодарно кивнул, и на этот раз в его взгляде было не столько удовлетворение от еды, сколько облегчение от того, что он наконец-то там, где ему рады — не за роль, которую он играет, а просто за то, что он есть.

— Так. Внимание. Сейчас будет мысль. Про язык памяти. Я по дороге понял одну штуку...

И тут все поняли: теперь тишина закончилась. Теперь будет шум, веселье, поток слов, идеи, споры, смех — и, возможно, именно это и нужно было, чтобы стена, которую мы собирались строить, наконец начала расти.

Что именно говорил Зуко дальше — про язык памяти, про то, как заставить Глубину вспомнить забытое ею о себе, — пересказывать не стану: настоящая работа делается не на словах, а между ними. Знаю только, что когда я поднял голову, на столешнице не осталось свободного места — схема обросла стрелками и почерком Зуко, — и стена, наша, вторая, впервые перестала быть чертежом. Оставалось опустить её на дно.

Маньяк, Падла и Пат, договорившись продолжить утром, спустились в дом. Зуко, наговорившись на три часа вперёд, уснул прямо на диване в гостиной, и оттуда ещё доносился его негромкий, бормочущий храп — он, кажется, и во сне продолжал что-то объяснять. Я остался на террасе: спать не хотелось, тянуло к берегу, к тишине, где можно выдохнуть и услышать себя.

Я спустился по ступеням и у крыльца впервые по-настоящему огляделся. Дача Чингиза стояла чуть в стороне от дороги, будто нарочно отступив в тень старых лип, — так, чтобы не бросаться в глаза, но и не прятаться совсем. Трёхэтажный дом из тёплого тёмно-серого кирпича, с ровной, почти графичной кладкой: ни лепнины, ни позолоты, ни кричащих деталей. Строгость линий смягчали широкие окна в лаконичных чёрных рамах — они занимали почти всю фасадную стену, и вечером, когда внутри зажигался свет, дом казался прозрачным, будто состоял из света и воздуха.

Справа к дому примыкал гараж на два машиноместа, облицованный тем же кирпичом; над воротами не было ни герба, ни витиеватойковки — только аккуратная, едва заметная подсветка, которая включалась сама, когда к участку подъезжали. Между гаражом и домом тянулась крытая галерея: летом по ней можно было пройти к террасе, не боясь дождя, а зимой она защищала от ветра, который с реки гнал колючие порывы. Перед домом лежал стриженный газон — ровный, как сукно бильярдного стола, без пёстрых клумб и скульптур. По краю газона шли низкие бордюры из натурального камня, а вдоль дорожки, ведущей к крыльцу, росли туи, подстриженные так, что их строгие силуэты не выглядели нарочитыми, а казались естественным продолжением архитектуры.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.